

Военные
Приключения

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ



НИК. ШПАНОВ

Военные приключения

Николай Шпанов

Горячее сердце (сборник)

«ВЕЧЕ»

2011

Шпанов Н. Н.

Горячее сердце (сборник) / Н. Н. Шпанов — «ВЕЧЕ»,
2011 — (Военные приключения)

И в страшном сне не представлял русский военный летчик барон Фохт, что наступит день, когда он забудет о любимой профессии, вынужден будет забыть и свое дворянское звание, и родовую фамилию. И то, как встретит изменившаяся Россия агента японской разведки, барон Фохт не мог представить... Произведения, включенные в эту книгу классика отечественной остросюжетной литературы, не переиздавались более полувека.

Содержание

Домик у пролива	5
Черные мухи	5
Под желтым небом	10
Король порока и скорби	17
Егеря	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Горячее сердце

Ник. Шпанов

Домик у пролива

Черные мухи

В грязном тесном номере «Пале-Рояля», с обоями, давно утратившими розовую игривость букетиков и веночков и теперь подозрительно засаленными, было удручающе душно. На скрипучей деревянной кровати, облезшей от поливания клопомором, лежал худощавый человек с тонким бледным лицом, с нездоровой чернотой под глазами и неопрятной щетиной на небритых щеках. Это был военный летчик, штабс-ротмистр Фохт. Он лежал, задрав ноги в пыльных сапогах на спинку кровати. Помятый френч одним плечом висел на стуле. Рукав его, собравшийся на сгибах привычной гармошкой, уныло свисал до полу, как рука безнадежно усталого человека. От жары, заполнившей пыльный городишко, гостиницу и номер, Фохту не хотелось двигаться. Было даже тяжело сгонять бесчисленных мух, назойливо щекотавших бритую ротмистрову голову. Фохт лишь усиленно двигал белесыми бровями, но это мало помогало. Мысли в его голове тянулись скучные и медленные: о невезении в карты, о грошовом жалованье, о закрытом кредите в заведении мадам Райц и о многом таком же нудном, нагоняющем безысходную тоску.

Стук в шаткую дверь с выломанным замком прервал его мысли.

– Кой черт?!

В номер грузно ввалился офицер с красным одутловатым лицом без признаков растительности на щеках и подбородке. Жирная, белая, безволосая грудь глядела в прорез расстегнутой рубашки. Он громко шаркал большими, не по мерке, туфлями из вытертой до плешин ковровой ткани...

Капитан Горлов был соседом Фохта по комнате и сослуживцем по отряду. Он летал с Фохтом в качестве наблюдателя и был известен тем, что постоянно и всюду являлся некстати.

– Жоржинька, выручи, миленький! Моя жидовочка пришла, надо отдать ей хоть десятку, неделю, как должен... Знаешь, взял, неудобно как-то... вроде альфонса получается. Право, нехорошо!

Фохт не повернул головы. Горлов звучно почесал под рубашкой дряблую грудь. Фохт сочно шлепнул себя по выбритому черепу и не попал по мухе.

– Нету красненькой! Нету! Лучше раздобудь целковый и пошли за вином... А ее, эту твою, тоже пошли... к дьяволу. А то пусть купит на свои... Подумаешь, «альфонс»!.. Ну и альфонс – велика беда!

Горлов суетливо подтянул сползающие брюки и прошлепал толстыми губами:

– Ну, ну, миленький, неловко все-таки... Значит, нет?

– Нет.

Горлов ушел.

Несколько мгновений перед Фохтом еще стояли широкие красные пятки капитана. Фохту казалось, что он все еще слышит, как об эти пятки хлопают стоптанные задники туфель. Он безразлично сморщился и устало повернулся к стене.

Снова тягучие мысли поползли в голове: «Паршивая жизнь! Когда конец этой сваре? Что ни приказ, то последний решительный, а красные все напирают и напирают... Конца не видно... Черт бы их всех драл!»

Среди мути серых мыслей всплывали редкие светлые пятна – огни воспоминаний: мягкий цокот копыт по невским торцам, серебряные савельевские шпоры, фойе Михайловского театра, окутанное туманом духов и желаний...

Солнце палило. С яркой глубокой лазури оно заливало раскаленным золотом пыльный городишко. Почти без зелени, с несколькими облупившимися домишками среди беспорядочной кучи мазанок, расползся он по берегу мутной реки. В иссера-желтых бурливых волнах не отражались ни яркое солнце, ни чахлая группа деревьев у моста, ни куча черномазых ребят, с визгом старавшихся спихнуть с берега раздувшийся труп лошади. Несколько разомлевших солдат полоскали, сидя на корточках, белье, лениво, с непотребной бранью отмахиваясь от мух. Где-то далеко, на окраине, звонкий кларнет выводил неуверенно одну за другой рулады кавалерийских сигналов: сбор и атака, сбор и атака...

И надо всем: над трупом лошади и гомоном грязных ребят, над полусонными солдатами, площадной бранью и руладами сигналов, над рокотом Терека и солнечным блеском, – надо всем царили мухи, туча черных больших мух, темными пятнами переносившихся с места на место и монотонным гудением наполнявших сонливую тишину скучного дня.

В номеришке «Пале-Рояля», на широкой клоповной кровати, ротмистр Фохт, весь покрытый испариной, лениво перелистывал тяжелый том сновидений. Сквозь гудение мух, сквозь рулады кларнета он видел большой белый зал. Огни электрических люстр переливались на новых, впервые надетых мундирах корнетов. Душно от танцев, от непривычного ментика, от присутствия Аллочки.

Под звуки кларнета, мелко перебирая тонкими ногами в белых чулках, в самую гущу толпы входит его Леди, англазированная кобыла, подарок отца. Но сейчас же где-то рядом уже громоздится ее вздувшийся труп, и Фохт силится вытащить из-под убитой лошади затекшую ногу. Алла, воздушная, сияющая, бежит к нему, путаясь в юбке. Приятно холодеет спина. Алла, милая далекая Алла протягивает Фохту руки, он хочет их схватить, но перед ним вырастает денщик Ковальчук с большим пакетом в руке. Письмо от сестры – продолговатые страницы, покрытые мелким почерком, так похожим на почерк матери, и на почерк Аллы, и на почерк всех женщин, которые ему когда-либо писали.

Сестра пишет, что младший брат Александр убежал из корпуса в армию. Это к лучшему, так как выяснилось, что он запутан в какой-то грязной истории с лицеистами. Узнай об этом отец – старика бы это убило. Он и так уж едва ходит. И тут же письмо сестры переходит в душистую записку Аллы: Жорж должен взять отпуск и приехать к ним в Петроград хотя бы на несколько дней.

Жорж приехал. Он уже штаб-ротмистр со свежим «Вовочкой»¹ с мечами и бантом. Но солдатня на солнечных улицах Петрограда почему-то нагло смотрит на него и даже не все козыряют. Ноги шуршат по ворохам подсолнечной скорлупы. А потом все смешалось в безобразную липкую кашу. Сквозь мутную пелену дождя с мокрым снегом на Жоржа глядит вереница бородатых мрачных лиц, солдаты остервенело срывают с себя погоны и гонятся толпою за ним.

Ноги Жоржа налиты свинцом, бежать невероятно трудно, а толпа насаждает. И впереди всех с наганом в руке за ним гонится брат Шурка, розовый, молодой и веселый, а под руку с Шуркой бежит Алла. Ноги Жоржа запутались окончательно, на него навалилась толпа, и Алла с размаху толкнула его в плечо...

Перед постелью стоял молодой солдат и нерешительно толкал Фохта в плечо:

– Господин ротмистр, а господин ротмистр!

Фохт мотнул головой.

– Какого еще лешего?

¹ «Вовочка» – бытовавшее среди офицеров название ордена «Владимир» (здесь и далее – примеч. авт.).

– Из штаба звонили: господ офицеров на аэродром. Капитан Горлов сказали – сейчас за вами зайдут, велели будить... Одеваться прикажете?

Фохт стал нехотя натягивать английский френч, к которому так не шли серебряные погоны с двуглавым черным орлом.

Вошел Горлов в небрежно застегнутом френче и высоких сапогах, давно не чищенных и порыжевших на складах.

– Жоринька, миленький, что-то они затеяли? Срочно вызывают. Зачем бы это, а? – На толстой губе Горлова некоторое время держался пузырек пены, вскипавшей в углах капитанского рта всякий раз, как он говорил.

– Черт бы всех драл! – неопределенно огрызнулся Фохт, с ненавистью глядя на этот пузырек. Словно капитан был виноват в том, что офицеров вызывали; в том, что шла война с красными; в том, что было до гнусности душно и к бритой голове назойливо липли жгучие мухи.

Три автомобиля, набитые офицерами, один за другим отъехали от подъезда «Палет-Рояля» и заныряли по разбитой мостовой. На домиках, что были чуть побольше, виднелись вывески с названиями разных штабов и управлений расквартированных частей Добрармии.

Проехав город, машины поодиночке перебрались через допотопный плавучий мост, погружавшийся в воду под их тяжестью. Миновали предместье с небольшими мазанками, укрытыми высокими плетнями. Сразу за ними открывалась необозримая степь. В километре белели палатки – ангары авиационного отряда.

Напротив одного ангара виднелась кучка людей, и в центре ее – плотный, коренастый командир отряда в полковничьих погонах, а рядом с ним худой и высокий, как жердь, английский офицер. При приближении офицеров полковник сделал навстречу им несколько шагов. Лицо его было озабочено. Англичанин, не вынимая папиросы изо рта, приложил два пальца левой руки к козырьку. Правой он опирался на трость с большим крючком.

– Здравствуйте, господа! – забасил полковник. – Получено срочное задание – произвести бомбометание по Тихорецкой. Там скапливаются составы красных. Из штаба прибыл майор Блэк с предписанием главного командования наблюдать за проведением операции. Майор считает необходимым вылететь всеми имеющимися в наличии машинами до наступления темноты, чтобы не дать возможности противнику преследовать наши самолеты при полете обратно.

Фохт недовольно заметил:

– Почему они посылают наш отряд в чужой район? У нас гробы вместо самолетов. Чтобы вот этому самому Блэку взять свой свеженький отряд? И район их, и дело вернее будет: машины-то куда надежней наших!

– Ну, ну, господа! Что за разговоры! Нижние чины кругом, – негромко остановил его полковник. – Распорядитесь каждый заправкой своего самолета. Я уже доложил майору, что из восьми наших машин вылететь смогут только пять. – И тут же полковник повернулся к майору: – Какие бомбы будем брать? Машины в таком состоянии, что на много рассчитывать не приходится. Я бы ограничился четырехкилограммовками.

– Олл райт, – равнодушно буркнул майор.

Фохт не торопясь шел к ангару, из которого мотористы уже выкатывали его самолет.

Он подозрительно оглядел аппарат. Каждая стойка и растяжка самолета казались ему ненадежными, таящими в себе возможность гибели.

«В сущности, нужно бы самому просматривать самолет перед вылетом: рожи солдат мне совершенно не нравятся», – размышлял он, глядя, как, откинув капот, моторист исследовал мотор.

Зная лень своего наблюдателя, он крикнул Горлову, чтобы тот бога ради просмотрел пулемет. Нижняя губа Горлова, казалось, отвисла еще больше, он тоже без всякого усердия полез в самолет и стал копать около «Льюиса».

На минуту внимание Фохта привлек было крик командира, разносившего кого-то из нижних чинов в то время, как майор Блэк брезгливо тыкал тростью в крыло одного из самолетов.

– Что ж, Николашка, давай в город съездим, у нас еще часа два времени есть; надо заправиться, а то черт его знает, когда еще домой-то попадешь, – сказал Фохт Горлову.

– Давай, миленький, давай! – ухватился за предложение Горлов и, накрыв пулемет чехлом, вылез из самолета.

В воздухе настроение Фохта, шедшего на последнем из четырех «Сопвичей», несколько не улучшилось. Много дрянных мыслей прошло в его голове за время пути от аэродрома до Тихорецкой. Сегодня он не был уверен в самолете. Движения собственных рук не казались ему такими безошибочными, как всегда.

Навстречу самолету внизу плыла зеленым островком станица, широко раскинувшаяся около черного узла спутанных железнодорожных путей. На путях, заволакивая дымовой вуалью станционные здания, ползали паровозы с нескончаемыми красными хвостами вагонов. Станица была уже близко. Фохт поглядел на лицо сидевшего сзади Горлова, и оно ему тоже не понравилось.

Всегда красный, упитанный Горлов выглядел сегодня каким-то сизым. «Это все из-за его проклятой девчонки, – мелькнуло в бритой голове Фохта, затянутой в плотный кожаный шлем. – Не будет нам пути».

Солнце готово было утонуть в бегущем желтыми волнами море степи. Косые лучи отбрасывали длинные черные пятна от построек и деревьев. Фохт следил за тем, как бежавшие по степи тени самолетов то сливались с этими распластанными на земле пятнами, то снова выходили на освещенные места.

Вдруг ему бросилось в глаза резкое движение переднего самолета, вильнувшего в сторону. Из-под головного «Сопвича» вынырнул неизвестно откуда взявшийся крошка «Ньюпор». Промелькнул блеск выстрела. Глянув вниз, ротмистр увидел, что от станицы тяжело поднимаются еще два желтых «Лебеда».

«Дураки, – подумал Фохт, – снять бы только «Ньюпор», а тогда этим нескладехам – крышка».

Наблюдатель переднего «Сопвича» свалил пулеметы на борт и, видно, ловил на мушку оказавшийся под ним «Ньюпор». Вспышки выстрелов срывались с пулеметов, сливаясь почти в сплошной венчик.

«Здорово!» – с удовольствием подумал Фохт.

А крошка «Ньюпор», впиваясь в сгущавшуюся мглу сумерек, все старался согнать с намеченного пути головной «Сопвич», распластавший над ним свои темные крылья с яркими трехцветными кокардами.

Два красных «Лебеда» добрались наконец до точки, с которой могли отвлечь на себя внимание пулеметчиков с белых «Сопвичей» и развязать руки «Ньюпору». То и дело меняясь местами, вся группа продвигалась к месту, где переплетались нити рельсов. Как припаянные, замерли там поезда.

Вот, свалившись на крыло, один из «Лебедей» круто перешел в штопор и тотчас же за ним, беспорядочно, завивая носом, пошел к земле головной «Сопвич». Как бы разрезая два сошедшихся самолета, вынырнул из-под них маленький «Ньюпор». А те двое медлительными штопорами вместе винтили воздух виток за витком, ниже и ниже.

Фохт видел, как в месте падения «Сопвича» взметнулось яркое желтое пламя и от взрыва рвануло остатки уже лежащего рядом «Лебеда». Тем временем под огнем вертявого «Ньюпора» два передних «Сопвича» повалились в левый вираж. Не дойдя до узла, они куда попало сбрасывали свои бомбы.

Фохт тоже свалил машину в вираж, отворачивая от Тихорецкой. Не осталось и мысли о том, что он не донес бомбы до цели. В мозгу лихорадочно бился только вопрос: «Почему Гор-

лов не разгружается? За каким чертом этот осел бережет бомбы?» Теперь они были для Фохта только досадной нагрузкой, увеличивавшей вес машины и ее лоб. А ему уже была дорога каждая лишняя верста, которую можно было выжать из «Сопвича». Намереваясь знаками показать Горлову, что нужно освободиться от бомб, Фохт обернулся. Из-под очков на него глядели расширенные страхом глаза капитана. И опять эта отвратительная слюнявая губа! Она двигалась, и в углах рта наблюдателя клубилась пена. По-видимому, он что-то кричал Фохту, от страха забыв, что тот не может его услышать. В памяти Фохта надолго сохранилась опущенная рука капитана. Ветер задрал Горлову рукав до локтя, и Фохт почему-то с особенной ясностью видел каждую веснушку на противно-красной коже. Словно именно это было сейчас самым важным, а не то, что Фохт увидел, глянув вниз, куда показывал Горлов, – в брюхо «Сопвичу» лез «Ньюпор». Фохт видел каждую деталь красного истребителя, различил даже порыжевший шлем и облупленную кожаную куртку летчика.

«Поймал!» – жарко пронзило мозг. Рука сама торопливо нажала на рукоятку, подавая ее от себя до отказа. Самолет нырнул вниз. Фохт отвел взгляд от «Ньюпора», чтобы не видеть вспышки его пулемета. Но «Ньюпор» бесцельно ткнул тупым носом то место, где только что был «Сопвич», болезненно дернулся и нырнул за ним.

В голове Фохта теплой, отрадной струйкой проплыла успокоительная мысль: «У него задержка в пулемете, теперь уйду... уйду!...» Казалось, даже прежняя твердость вернулась руке, когда он увидел, что красный истребитель действительно ушел к себе. Но все же поворачивать к Тихорецкой не было никакого желания. Фохт лег на курс и пошел к югу. Когда оглянулся на Горлова, тот спал, уткнувшись лбом в затыльник пулемета. Рот был приоткрыт, и губа висела еще больше, чем обычно. Фохт подумал о том, что хорошо было бы сейчас пустить в этот рот несколько больших синих мух.

Фохт знал, что по возвращении на аэродром его ждет разнос, а может быть, и отчисление из отряда. Начальство почти наверняка захочет подслужиться к англичанам и устроит бучу. Но сейчас Фохту было наплевать на все. Он давно уже думал о том, что хорошо было бы унести ноги из этой богоспасаемой «единой и неделимой». Если это удастся, его калачом не заманишь туда, где в воздухе угрожает встреча с красными.

– Ну их всех к черту! – вслух проговорил он.

И успокоился на этом так, что после возвращения домой самым досадным представлялось отвратительное прикосновение черных мух к бритой голове.

Под желтым небом

Когда синкопы джаз-банда смолкали, с эстрады в зал летел вопль дикого призыва и голые мулатки, останавливаясь как вкопанные, искусно и непристойно трясли узкими серебряными тесемочками. Но и этот танец дикой страсти не удивлял никого и даже мало привлекал внимание: в вольном городе Харбине удивляться голому коричневому животу?..

Зал небольшого ночного кабаре гудел собственным шумом, ничуть не уступавшим по силе джазу, и временами даже заглушал его. Разноязычный говор сливался в неясный гул, фонари, огромные, как решета, лили расслабленный свет в воздух, представлявший собою густую смесь из сладко терпкого дыма трубок и дешевых сигар, острого запаха женского пота и тошнотворно-приторной пудры.

У барьера эстрады за столиком с тремя уже пустыми бутылками сидели двое.

Пожилой, толстый, с красным обрюзглым лицом, иззелена-седыми усами и нарочито старомодными подусниками курил толстую черную сигару, роняя пепел на отвороты визитки, которую носил с презрительной небрежностью. Это – полковник службы генерала Чжан Чжун-тана, Александр Иванович Косицын. Когда-то российский интендант, а ныне заведующий тыловым снабжением и бюро вербовки белой бригады Нечаева, он щедро подливал вино в стакан собеседника – человека с тонким, худым, лимонно-желтым лицом. Дрожащей рукой пряча бахромку рукавов, из-под которых выглядывали посеребренные манжеты, собеседник подносил к синим губам стакан и жадно отхлебывал. Проклятые манжеты лезли наружу, не пристегнутые, так как рубашки под кителем давно не было на бывшем военном летчике, бывшем штаб-ротмистре, бывшем бароне Георгии Густавовиче фон Фохте, а ныне... ныне – что придется: иногда он носильщик или метельщик, иногда просто попрошайка, но всегда, когда заводилось несколько грошей, посетитель курительного заведения Го Чуан-сюна.

С тех пор как Фохт перекочевал с Юга России в бело-генеральский Китай, он еще ни разу не был сыт, ни разу не спал в чистой постели и не вылезал из обносков, достававшихся ему от бывших товарищей офицеров.

На пустой желудок Фохта вино оказало сильное действие, и он, с трудом поднимая отяжелевшую голову, обводил мутным взглядом зал, потом, вспоминая, что за столом необходимо беседовать, однообразно бормотал:

– Саша, Саша... вот ведь ты тыловая сволочь, а я тебя люблю... За что люблю – и сам не знаю, а вот люблю...

Интендантские подусники раздвигались в улыбке.

– Э, брось, барон! Давай лучше выпьем за... Ну, хоть за твои будущие успехи.

И трезвый полковник снова наклонил горлышко бутылки к стакану Фохта.

Фохт жалко усмехнулся.

– Успехи? Какие успехи в этой проклятой стране! И потом... врешь ты все... Ну, посуди сам, ради чего в петлю лезть! Ради этой гнусной рожи, Чжана твоего?.. Ведь он палач, а?.. Ей-богу, палач! До дьявола лестно быть на службе у палача!.. Мы уже сыты этим. Поработали на своих таких же... чжанов!

– Тсс... не надо лишних слов. – Полковник огляделся. – При чем здесь его превосходительство? Ты же прекрасно понимаешь: наша бригада проливает кровь вовсе не из-за прекрасных глаз Чжана. Не можешь же ты рассматривать нас как простых ландскнехтов. Что объединяет нас с Чжаном и со всеми благонамеренными элементами Китая? Хочешь, чтобы те, кто у тебя все отнял, тверже встали на ноги благодаря гоминдановцам? Этого хочешь? Ты хочешь гибели святого белого дела, хочешь, чтобы красные... – Не договорив, он выразительно провел ребром ладони поперек своей шеи.

Проблеск мысли отразился в затуманенных глазах Фохта. Он оскалил кривые зубы, ударил кулаком по столу и сказал:

– Надо набить им морду... – И, повинуясь темному ходу злобы, продолжал: – Я как вспомню, милый, наши-то края, жуть берет... Эх, жизнь была!.. А ты как думаешь, не надуют нас и эти?.. Милые союзнички-то надули, а?..

– О чем ты говоришь? С нами Бог, ведущий своих крестовых рыцарей к победе, а...

– Брось ты своего Бога!.. Ты вербовщик, ну и вербуй крестовых рыцарей... Туды тебя!.. Торгуй нашей кровью. Твой бог – доллар, на него и надейся – не выдаст. Крепкий, стервец, туды его!

Фохт снова уронил голову на руки и тяжело задумался. Хмельная тьма накатила на него и, схлынув, оставила в голове клубок недоверчивых вопросов, подозрений, обид.

– А сколько платить будут?

– Двести основного и за летные.

– Двести, говоришь?.. Так-с, двести!.. За двести долларов я должен продать свою шкуру. Не густо, милая Августа!.. Двести китайских долларов за офицера Российской императорской... и прочая, и прочая?.. Ай да цена! Сволочь ты, Саша, понимаешь, сво-о-олочь! Иуда ты, а не полковник... Сколько комиссионных на моей шкуре получаешь?

– Ну, знаешь, голуба, ты уж слишком!

Но Фохта остановить было трудно. Клубок в голове разматывался темной, прерывистой, но неуждержимой нитью.

– Слишком?.. Шалишь, брат, рта мне не заткнешь!.. Тебе что? По шантанам шатаешься да дураков ищешь. А шею ломать мне?.. Ну, суди сам: во имя чего?.. Ради чего, я тебя спрашиваю?! Погоны? Так ну их к черту, твои погоны, давно мы их, эти погоны... Погоны! Честь-то у нас валдайская. Была она в кармане Деникина, а нынче... нынче в нужнике Чжан Чжун-тача наши погоны, вот где!

– При чем тут честь, голуба? – Косицын сделал строгое лицо, и его подусники собрались в два колючих пучка. – Разве дело только в чести? Мы боремся вместе с лучшими людьми самодержавного Китая за идеи порядка, за права человека, которые смешали с грязью все эти красные «искатели свобод». Смотри, мой друг, вчера они были в Москве, сегодня – в Кантоне, а завтра и сюда придут. Теперь не в чести дело, барон. – Косицын тыльной стороной руки с важностью раздвинул подусники. – Все как один должны мы встать на защиту наших исканных прав, куда бы ни забросила нас судьба! Сегодня мы поможем генералу Чжану покончить с красными в Китае, завтра – он нам. Вспомни то, что ты оставил там, в далекой милой России...

– Россия... – презрительно пробормотал Фохт. – Мы, остзейцы, никогда не унижались до того, чтобы смешиваться с этим стадом... Да, мы были подданными русского царя. – И неожиданно гнусаво затынул: – «Бож-же, цар-ря хр-рани...» Туды его! Да!.. Найди в жилах Романова хоть каплю русской крови!.. Одну каплю!.. Он был наш, немец! – И вдруг, озлившись: – Проклятый ублюдок, продал, пропил нас... всех... всех!

Фохт схватил стакан и полил скатерть вином. Красная лужица растеклась по ткани. Покачиваясь на стуле, Фохт смотрел на нее не отрываясь, выпятив губы.

– Вот так мы должны были залить кровью все те места, где появлялась зараза... Понимаешь, залить?.. Море чтоб было... красное море! Только тогда мы могли построить свое правое, настоящее, когда вся пададь утонула бы в крови... Тут... тут! – он неверно ткнул пальцем в красную лужу. На его губах вспухали слюнявые пузыри.

– Ну-ну, не так кровожадно, голуба. Давай-ка собираться. Мне пора... Как же насчет дельца?.. Сошлись?

– Опять ты насчет дела... При чем тут дело? Я дал себе слово больше никогда не садиться в самолет. Понимаешь, никогда?.. Вот ты, усатый, наверно, даже не сидел в самолете? Ну, говори же: сидел или нет?

– Зачем мне?

– Вот, вот – зачем?.. А зачем мне? Чтобы опять встретиться в воздухе с малым, который будет думать только о том, как бы всадить мне в брюхо пулеметную очередь?

– Э, голуба... А ля герр, комм а ля герр!

– Брось оперетку! – Фохт сердито стукнул по столу кулаком. – Это единственное, что ты запомнил из «Марго». Ну и молчи. Что ты понимаешь в войне! Портянки, одеяла, котелки?! Ну, теперь еще в придачу такие дураки, как я. Все, на чем делают деньги!

– Послушай!

– Нет, теперь уж ты слушай меня!..

Фохт сжал голову руками. Его бледное лицо с опущенными веками было как маска покойника. Некоторое время он покачивался из стороны в сторону. Потом открыл глаза и удивленно уставился на полковника.

– Значит, снова на самолет, снова в воздух? И все это за двести паршивых долларов, которых не берут ни на одной бирже мира?.. А ты понимаешь, что это значит – снова в самолет?.. Это же смерть! Почти наверняка смерть. А ты говоришь об этом, как о каком-то индентантском гешефте... Понимаешь ты это, крыса?.. Кр-рыса! – И он потянулся было к подуснику Косицына, но тот отстранил его руку, и она безжизненно повисла.

Фохт поднялся на нетвердые ноги и, опрокидывая стулья, пошел к выходу.

Полковник наскоро расплатился с подбежавшим боем. Выходя из вестибюля, он взял Фохта под руку, потянул к извозчику, но летчик пьяным усилием сбросил руку полковника и направился влево, в сторону китайского города.

– Куда же ты, барон?

– Куда?.. Да, да, куда я?.. Ах да, чуть не забыл. Ты вот что, Иуда, дай мне пять долларов сейчас. Можешь записать за мной... десять.

– Зачем тебе? Переночуешь у меня, а завтра в дорогу, тебе нужно выспаться, ты... устал... Право, поедem лучше ко мне.

– Устал?.. Да, я устал... Но ты не бойся, к утру, как условлено, я буду у тебя, а сейчас гони пять долларов... Не бойся, я приду – твои сребреники не пропадут... Слово русского офицера!

Полковник колебался. Нехотя вынул деньги, протянул Фохту.

– Но помни, барон, завтра ровно в десять у меня соберутся все, кто должен ехать в бригаду.

Фохт его уже не слушал. Он зажал бумажку и, не глядя на полковника, свернул в темный провал переулка. Оттуда послышалось пьяное пение: «С-сильный... дер-ржавный...»

Фохт шел пошатываясь. Там, в конце переулка, налево, заведение Го Чуан-сюна. «В последний раз...» Мягкие, непослушные ноги несли его к темному домику Го Чуан-сюна. В низкой каморке, на отполированных тысячами тел деревянных нарах, он получит трубку. Толстую камышовую трубку с маленькой чашечкой. Услужливый бой вложит в нее чудодейственный шарик видений.

– «...Царствуй на сл-лав-ву нам...»

Шарик сказочных грез!

Сегодня Фохт получит столько грез, сколько может выдержать человеческая голова!

Пять долларов – это капитал в заведении Го Чуан-сюна. Го Чуан-сюн, добрый старый китаец, куда толще и уж, во всяком случае, добрее Чжан Чжун-тана. За пять долларов он даст то, чего не могут дать ни генерал Чжан, ни бригада Нечаева, ни сам Господь Бог. Го может дать все! Все, чего нет больше у Фохта, чего, может быть, никогда и не было и чего никогда не будет. Все, все!

– «...Н-на страх... вр-рагам-м...»

– Карту?

– Даю под весь.

- Сколько там?
- Ровно четыре тысячи.
- Давай.
- Дамблэ!.. Восьмерка!
- Жир!
- Деньги на стол.
- Иди к дьяволу!
- Ну, шутки в сторону, гони четыре тысячи.
- Пошел к черту, нет у меня. Завтра.
- Нет денег, так нечего лезть к столу, за это шандалом бьют! Арап!
- Что ты сказал? Повтори!
- Ну и повторю: ты не офицер, а свинья!

Этот диалог был вступлением к тому, что произошло дальше в полуразрушенной фанзе грязной китайской деревушки. Сквозь тяжелые облака табачного дыма блеснул огонь выстрела. Направленная неверной рукой штаб-ротмистра пуля разбила подвешенный к прокопченному потолку жестяной фонарь, и в темноте поднялась суматоха. Звон разбиваемой посуды смешался с пьяными выкриками и грубой бранью. В воздухе повис запах вытекающего из фонаря керосина.

Циновка, заменявшая дверь, поднялась, как будто в стене пробили брешь, и с порога motнулся голубой луч карманного фонаря. Шум сразу упал.

– Смир-р-на-а-а!.. Что за гвалт, господа! Не офицерское собрание, а жидовский шабаш. Опять ханшин? Надо хоть накануне дела быть похожими на людей. И вы, ротмистр? Почему у вас в руках «браунинг»? Это вы стреляли? Опять накурились... Мерзость!

Вошедший медленно обвел лучом своего фонаря растерзанные фигуры столпившихся офицеров. Он увидел расстегнутые кители, красные потные лица, опухшие глаза, услышал тяжелое, хриплое дыхание и ощутил липкую вонь скверного китайского самогона, смешавшуюся с запахом керосина.

Был второй час ночи, густой китайской весенней ночи, когда тьма, как чернила, обволакивает землю до двух часов, до той поры, когда с востока сразу, без предрассветной мглы, брызнет поток розового света.

Вошедший – сухой, бритый человек с крикливым голосом – обвел взглядом застывшие лица и напыщенно произнес, отчеканивая каждую букву:

– Судьба бригады зависит сегодня от нашей работы, а у меня ни одного трезвого летчика... Позор! На вас погоны. Вы бы хоть о них подумали... Через час прошу всех быть на аэродроме.

Голубой луч погас. Циновка упала. В сдержанном сопении десятка людей чиркнула спичка, кто-то закурил. По красной точке папиросы можно было проследить, как человек пробирался к двери; наткнувшись на опрокинутый стол, он громко выругался и нарушил тишину.

– Эй, Ли Тяю, свету сюда! – донеслось из заднего угла фанзы. – Ли Тя-я-яо, чертов сын, свету!.. Спят, скоты! Тоже вестовые!.. Господа, налейте кто-нибудь ханшину в чашку да зажгите.

Синий язычок горящего спирта заколыхался на столе, освещая небольшое пространство. Офицеры авиационного отряда нечаевской бригады, состоявшей на службе генерала Чжан Чжун-тана, стали пробираться к выходу из своего глинобитного «собрания». Темные молчаливые фигуры поглощал холодный мрак.

Скоро в разных концах деревушки замелькали красноватые глазки керосиновых огней. Шум приказаний и перебранки на русско-китайском жаргоне наполнил воздух. Постепенно голоса смешались и удалились к южному концу деревни. Там, за околицей, был расположен аэродром отряда.

Над равниной, над полями, над глинобитными фанзами мгновенно, как бы воспламенное на востоке ударом, зарозовело небо. Ночь побелела, обнажая местность. Водопадом ослепительных лучей на черную полуразрушенную деревню и бесконечные поля гаоляна пролилось утро. Среди этих однообразных полей фанзы с чахлыми деревцами казались беспорядочно на капанными пятнами. И странно, как бумажные колпаки, белели палатки-ангары, растянувшиеся в линию на расстоянии полукилометра от деревни.

Там мотористы уже покрикивали на китайских солдат, лениво раздвигавших полотнища ворот и выводивших самолеты. Большие аппараты, поблескивая новой лакировкой, мягко колыхались на неровностях поля. Это были свеженькие французские машины «Бреге-ХІХ» с рогатым лбом лореновских моторов.

Фоxt явился на аэродром последним. Он шел развинченной походкой, не глядя под ноги, углубившись в темные, нудные воспоминания о прошедшей ночи. С грезами, которых он ждал от опия Го Чуан-сюна, в последний раз что-то не получилось. Тело только налила усталость. Все та же свинцовая усталость, которой было заполнено в последнее время его опустошенное существо.

Фоxt хмуро прошел в свой ангар и принялся осматривать самолет. Он никак не мог сосредоточиться, собрать необходимое сейчас внимание. Ему было не по себе. Голова трещала. Саднила мысль о том, как бы ликвидировать ночной инцидент с банкометом. Надежды отдать четыре тысячи не было: откуда их возьмешь?! Руки казались чужими, непослушными, непомерно тяжелыми, как бы налитыми. Последнее особенно не нравилось Фоxtу. Это было признаком возвращения лихорадки, схваченной в самом начале пребывания в Китае. Вообще, под этим желтым небом Фоxtу не везло. Не везло во всем – от службы до карт.

Бегло осмотрев самолет и пулеметы, Фоxt обтер руки, ткнул сапогом в ящик с бомбами. – Двенадцать десятикилограммовых! Да живей! И так уж опаздываем.

Связных мыслей в голове все не было. Он безучастно смотрел перед собой, ничего не видя, пока китайцы осторожно вынимали из ящика бомбы и подносили их мотористу, на коленях стоявшему под самолетом и укреплявшему их в бомбодержателях.

В голову Фоxtу лезли разорванные клочки воспоминаний: шатание по отрядам «единой и неделимой» Добровольии; рейд для связи с левым флангом колчаковских армий, пьяные тылы разлагавшихся армий Верховного правителя; бегство в Маньчжурию, неудачная попытка пристроиться в штаб Унгерна и цепь полупьяных-полубоевых приключений до первой трубки опиума. Здесь нить воспоминаний терялась. Всплывало только что-то розовое, тягуче-липкое, зовущее к себе разбитое тело и обезволенный мозг. Розовое сменялось свинцово-серым, тяжелым, пустым и еще более лишенным разума и воли...

– Командир зовут!

Фоxt вздрогнул от голоса, неожиданно ворвавшегося в беззвучный хаос воспоминаний. Он провел по лицу желтой рукой и вопросительно глянул на вытянувшегося перед ним моториста. Глаза солдата, в свою очередь, недружелюбно уперлись в испитое лицо офицера. Фоxtу почудилось в этих глазах нечто, что заставило его на минуту опустить взгляд. Но тотчас же он вскинул голову и злобно бросил:

– У тебя все готово? Нестеренко, смотри, чтобы с мотором сегодня не было, как в прошлый раз. Ты, скотина, меня когда-нибудь угробишь. Я докладывал командиру. Имей в виду, если со мной что-нибудь случится, он с тебя шкуру спустит.

– Штаб-ротмистр Фо-о-охт! – донеслось с аэродрома.

Около командира отряда собрались уже все летчики и наблюдатели. Фоxt побежал туда разбитой походкой бесконечно уставшего человека. Он почти не слышал последних инструкций, которые командир давал офицерам, и машинально прислушивался к зловещему звону в ушах, безошибочно возвещавшему о том же, что и налитые свинцом руки: лихорадка!

«Отказаться лететь? Через час меня будет трясти, – думал Фохт. – Она пришла, вероятно, вечером, но опий задержал приступ... А впрочем... один черт!..»

Он махнул рукой и, когда умолк командир, пошел к своему аппарату. С наблюдательского места торчала голова полковника Корчагина, генштабиста, назначенного наблюдателем на его машину вместо свалившегося в лихорадке приятеля Фохта, сотника Кочетко. Корчагин с первого же взгляда не понравился Фохту. Как все летчики, Фохт не переваривал генштабистов. Считал их белоручками и не доверял им. А этот к тому же впервые отправлялся в боевой полет. Фохт был почти уверен, что в случае чего этот «фазан» не сумеет управиться с турельным пулеметом. А тут, еще ввязались четыре тысячи, так некстати проигранные именно ему, этому генштабисту!

Вяло, без обычного подъема, Фохт устроился на пилотском месте, застегнул ремень, натянул перчатки, надел очки.

Винт пружинно метнулся под рукой моториста.

– Контакт?

– Есть контакт!

– Раз... два... три.

Стрельнув, мотор хорошо подхватил. Фохт прибавил газа, мотор ровно набирал обороты. Фохт кивнул Нестеренко, вопросительно глядевшему на него сквозь блестящий ореол винта. Несколько китайцев держали крылья, пока впереди не показался офицер с белым флажком. Фохт оглянулся на наблюдателя. Генштабист был, видимо, готов. Гонимый заревевшим мотором «Бреге» побежал по полю, взметая кистелем пыль. Фохт оторвал хвост, и прекратились толчки на плохо сглаженных бороздах гаолянного поля. Потянул на себя ручку. Земля стала уходить вниз.

Фохт все так же нехотя отыскивал глазами переднюю машину и безучастно пошел за ней. Мыслей в голове не было.

Ухо не улавливало никаких капризов мотора. Легкая струя ветра, дувшая из-за козырька, немного освежала голову под кожаным шлемом, припекаемым солнцем.

Уже больше получаса прошло с тех пор, как отряд миновал передовые части нечаевской бригады, оторвавшейся за ночь от частей Народной армии. Влево пылила большая колонна кавалерии. Своей, белой, чжановской, или красной, народной, Фохт не знал. Да это его больше и не интересовало. Цель полета постепенно забывалась в той неразборчивой мути воспоминаний, предчувствий, полумыслей-полувидений, которыми всегда начиналась болезнь.

Он напрягал волю, чтобы заставить себя не отрывать взгляда от летевшего впереди командирского «Бреге». Рука тяжело лежала на ручке и совершенно машинально проделывала движения, необходимые для управления аппаратом.

Ногам было холодно, точно зимой. Фохт не чувствовал педалей. Его знобило. Зубы не стучали только потому, что он крепко, до боли стиснул челюсти.

Внизу проплыла деревня. Фанзы были точно вмазаны в желтую землю. Глядя на выющую серую ленту дороги, идущей мимо деревни, Фохт вспомнил, куда и зачем летит. В конце этой дороги – город. В городе – штаб и база «красных».

К черту все! Так ужасно звенит в ушах, и так ноет все тело. Хочется бросить управление и закрыть глаза. Какое Фохту дело до этих гоминдановцев?! Ну, там, когда-то давно, была еще настоящая цель. В донских степях и на отрогах Урала он дрался с наводнившим империю «хамом» за свое, за родовое, за брошенный в Курляндии майорат. А теперь-то какого лешего нужно ему здесь, в этой совсем чужой стране?... Драться за поместья господ китайских генералов?

И за это – лихорадка, опиум...

К черту все! Даже опиум! Да, да!.. Отвратительно кружится голова. То, что называется мыслями, оказывается кусками, осколками какой-то боли, неуклонно впивающейся в череп.

Косицын купил Фохта для Чжана за двести долларов в месяц. Чжан – это китайский Колчак. А там, за ним, свора своих, китайских, деникиных, красновых и врангелей... Хозяева орудуют здесь те же, старые знакомые – фунт, доллар, франк... А какое дело Фохту до долларов, когда так болит голова и прыгают искры в глазах? Доллары!.. Хватит ли их на затяжку из толстой бамбуковой трубки?..

Вон деревня внизу. И какая уютная – много зелени. Большая, богатая деревня... Наверное, есть здесь свой Го Чуан-сюн, толстый добряк, у которого много волшебных трубок.

На горизонте блеснул белыми стенами домов большой город. Подполковник Корчагин сзади толкнул Фохта в голову, показал на город, кивнул головой: у цели! А в голове Фохта от этого легкого толчка зазвенело. К горлу подкатил тугой комок. Вместо того чтобы всмотреться в город, Фохт прикрыл глаза.

Цель?.. Цель подождет... К дьяволу все цели на свете! Вот только здесь, внизу, рукой подать, уютная деревушка. В ней, наверно, найдется две-три затяжки... Надо сесть... Это цель...

Мутными глазами он обвел поля под собой с раскиданными на них купами зеленых деревьев. Свалил влево машину, почти перекрыл газ. Звеня дрожащими тросами сквозь притихший рокот мотора, машина спокойно шла в плавном вираже. Фохт глянул назад, на ненавистного генштабиста, и беззвучно засмеялся в его испуганные глаза.

Вот и земля – пушистая, зеленая, спокойная. Без участия мозга, плывущего в огненном желтом море, рука выровняла машину. «Бреге» гроыхнул, дал козла, снова опустился и побежал, приминая траву.

Фохт обернулся, оскалившись, опять засмеялся беззвучным смехом больного. Последним усилием поднялся на руках и прямо через борт самолета свалился в траву.

– Ротмистр, что случилось?.. Машина?.. Мотор?.. В чем дело?.. Ведь это безумие – садиться здесь, вблизи красных!.. Эй, ротмистр!

Генштабист тормозил за плечо лежащего Фохта. Но широко открытые глаза летчика бессмысленно смеялись сквозь желтые стекла очков. Наконец он приподнялся, сел. Шатаясь, поднялся на ноги и, не глядя на Корчагина, пошел к деревне. Наблюдатель растерянно вприпрыжку семенил рядом. Фохт медленно цедил сквозь стучащие зубы:

– Вы, подполковник, фазан, птица... Летите к цели? А мне сюда – по делу... Одну затяжку... Голова болит... Что, задание?.. Какое задание? Ах да, красные... Ну ничего. За двести долларов я найду здесь затяжку... Кто бредит?.. Вы чудак...

Генштабист наотмашь ударил Фохта по лицу. Он упал. Хотел подняться, но не было сил. По траве на четвереньках пополз навстречу замелькавшим в деревьях фигурам. Что-то блеснуло в просвете между стволами, зыкнула пуля над ухом.

Как игрушечный, хлопнул выстрел. Еще и еще. Фохт привстал и, подняв руки, на коленях пополз к стрелявшим в кого-то китайским солдатам.

– Бросьте там валять дурака... Одну затяжку!.. – Ему казалось, будто он громко произносит это, в действительности же он только шевелил губами.

Фохт пошатнулся. Крепко обожгло голову. Зато в ушах перестали звенеть комары лихорадки. Руки запутались в высокой траве. Лег врястяжку, спокойно.

Сейчас прибежит бой с волшебной трубкой?.. Ну, ну, давайте же ее! Сейчас Фохт затянется и будет совсем хорошо...

Король порока и скорби

Штаб-ротмистр Фохт проснулся с тяжелой головой. Впрочем, какой уж он штаб-ротмистр?! Он даже и не Фохт. И забыл, когда его в последний раз величали этим именем, полученным от длинной череды остзейских предков.

Теперь он... Да, действительно, как же его теперь зовут?.. Он устал запоминать имена, какие выпадали на его долю на последнем отрезке пути, не столь уж длинном, но казавшемся Фохту куда длиннее всей предыдущей жизни.

Да, так как же его зовут?.. А не все ли равно?! Может быть, наконец тут он получит доброкачественный паспорт, где по-русски будет написано, кем он должен стать. Наверно, это будет надолго, и тогда уж он постарается запомнить свое имя. Но когда это будет?..

Ему приказано сидеть на этом полуострове, отстоящем в каком-нибудь часе езды от города. Сидеть и ждать.

Он сидел и ждал.

Было мучительно каждый вечер, ложась спать, мечтать о трубке и каждое утро просыпаться с головной болью из-за того, что мечты оставались только мечтами. Не теми розовыми грезами, какие рождаются в дыму опиума, а назойливыми и безнадежными терзаниями, окружавшими его стеной, как серая дождливая муть, плотным колпаком накрывшая полуостров.

Дождь шел изо дня в день. Все об одном и том же бубнила крыша над головой бывшего штаб-ротмистра, старавшегося забыть о том, что его звали Фохтом.

Ночами, когда выгорала лампа, а глаза, не слушаясь темноты и позднего часа, не хотели смыкаться, он слышал булькающий звон дождя в желобе. По мере того как вода собиралась в струйки, стекая в бочку под трубой, тон бульканья менялся от верхнего «до» к нижнему. Это зависело от силы дождя. От нечего делать Фохт (он никак не мог привыкнуть не называть себя так даже в мыслях) прислушивался к этим звукам. Но временами, когда дождь бывал особенно сильным, становилось невозможно уследить за переменами в звучании струи, падавшей в бочку. Вода звенела тогда беспорядочно. То этак: буль-буль-бинь... буль-буль-бинь. А то вдруг: буль-бинь-буль... буль-бинь-буль. Иногда же совсем тоненько и жалостливо, как плач ребенка: бинь-бинь-буль.

Если дождь переходил в ливень, то грохот воды по крыше заглушал все другие звуки. Тогда становилось жутко. Даже если в лампе еще оставался керосин, Фохт прикручивал фитиль или вовсе задувал чадающий язычок пламени. Ему чудилось, что, когда мрак в домике становится так же густ, как мрак снаружи, проще угадать приближающуюся опасность.

А опасность чудилась всегда и во всем. Даже днем, когда из окошка все было видно.

Подступивший к дому лес заглядывал в окно блестящими, только-только от лакировщика, листьями. Когда ветер дул с моря, то с вьющегося по наружной стене винограда, с его широких листьев вода лилась на стекла и сквозь щели в раме проникала в дом. Тогда к шуму струйки, лившейся в бочку, прибавлялся размеренной стук капель, падавших с подоконника на пол. По тому, как часто падали капли, Фохт мог судить, с какой силой дул ветер со стороны Японии и как крепко прижались к окну виноградные листья.

Если эти листья приникали к окошку ночью и, терзаемые ветром, шуршали и скребли по стеклу, Фохт просыпался. Сидя на топчане с поджатыми к подбородку коленями, он напряженно вглядывался в промозглую черноту. Он знал, что за окном – всего только листья. Был в этом уверен. И все-таки не мог заставить себя лечь.

Разумеется, днем было легче, чем ночью. Хотя бы уже потому, что можно было выйти из дому и, примостившись где-нибудь за кустом, сквозь пелену дождя смотреть на море. Серая у самого берега пелена эта делалась все темней и темней по мере удаления в море. Вдали она становилась совсем черной. Вода, падавшая с неба, сливалась с волнами, накатывавшими на

берег. Невозможно было разобрать, что гонит ветер над волнами – брызги дождя или сорванные порывами пенистые гребни.

Фохт смотрел туда до тех пор, пока не мутнело в глазах. Потом долго сидел, закрыв глаза и съежившись под жестким коробом брезентового дождевика, пока озноб не заставлял вернуться в дом.

Черная, как деготь, земля шипела под ногами и пускала пузыри на каждом шагу. Ступени крыльца потемнели и ослизли, как банная шайка. В уголках стал прорастать мох.

Старое фланелевое одеяло, которым первое время накрывался бывший Фохт, лежало под топчаном. Оно так пропиталось влагой, словно его только-только вытащили из корыта и не успели отжать. Почти так же выглядела и ветхая штора, заменявшая простыню. Лист картона, которым был накрыт стол, казалось, умышленно тщательно, дюйм за дюймом, обрызгали чернилами. Думая от нечего делать над происхождением этих брызг, Фохт пришел к выводу, что человек, живший тут до него, имел привычку писать химическим карандашом.

Наверно, карандаш был плохой и человеку приходилось часто чинить его. Пыль от графита разлеталась по бумаге и теперь, намочнув, выглядела как чернильная рябь, разбрызганная бездельником. Однажды, думая об этом, Фохт рассмеялся. Он представил себе, как выглядел бы теперь в этой сырости сам человек, чинивший карандаш: ведь известно, что пыль от химического графита непременно осела бы на его лице и руках. И вот Фохт мысленно увидел лицо своего предшественника, усыпанное мельчайшими лиловыми точками. Он засмеялся, хотя, по существу говоря, в этом было мало смешного. Особенно для человека в положении Фохта.

За лесной полосой, отгораживавшей домик от берега, непрерывно гремело море. Приглушенно, словно бы она тоже промокла и охрипла, шумела подбрасываемая прибоем галька. Отчетливым оставался только дробный, костяной стук, с которым камни падали обратно на берег из-под гребня убегающей волны.

Покрытые коричневой слизью валуны были скользкие, как лед. Однажды Фохт с трудом взобрался на один из них, чтобы посмотреть дальше, в море. Стараясь удержать равновесие на этом валуне, Фохт подумал, что так же вот, наверно, заключенный всеми силами старается забраться как можно выше, чтобы хоть краешком глаза заглянуть за железный козырек, закрывающий от него мир.

Перед глазами Фохта не было решетки, а за спиной не гремела железная дверь. Но впереди был дождь, а сзади лес. И полуостров был тюрьмой. В тех тюрьмах, где решетки и железные двери, страшно сидеть, из них хочется уйти. В тюрьме Фохта тоже страшно было оставаться, но, пожалуй, еще страшнее ее покинуть.

За пределами полуострова не было ни одного клочка земли, где он чувствовал бы себя в безопасности. Он не признавал себя ни в чем виноватым, но уже одно то, что был здесь, казалось страшным. Зачем он тут? Зачем пришел сюда? Неужели он стал уже настолько бесправен, что не мог сказать «нет», когда ему велели отправиться сюда?.. И чем это лучше, нежели даже пуля, полученная в ответ на слово «нет»? Пуля?! Смерть?! Он уже не боялся смерти, только бы ей предшествовала трубка опия. Умереть в розовых грезах! Могло ли быть что-нибудь более заманчивое в его положении? Но у него не было ни крупицы спасительного зелья – хотя бы для того, чтобы на час уйти от мокрой действительности. Он был обречен на ожидание. Скоро неделя, как он ждет.

Ждет, считая капли, падающие с подоконника; прислушиваясь к звону струи, стекающей в бочку, и к шороху листьев о стекло. Если это продлится еще неделю, он, наверно, сойдет с ума... Сойти с ума... Что такое сойти с ума? Может быть, это и есть как раз то, чего он ждет от опия? Может быть, это ничем не хуже смерти?.. Только бы не сойти с ума от страха. Тогда уж, наверно, страх загонит его в могилу. Представьте себе – непрерывный страх! Страх без передышки. Днем и ночью. Наяву и во сне. Страх перед всем! Страх перед всеми...

Фохт нервно повел спиной и отвернулся от окна, к которому льнули большие темные листья винограда. Они как будто следили за каждым его движением, глядели в глаза. Он уронил голову на грязную подушку. От нее удушливо пахло прелым пером. Он со злобой отшвырнул ее в угол и, подперев голову рукой, стал смотреть, как щели разбегаются по доскам перегородки. Они сходились и расходились, как железнодорожные рельсы на стрелках. Фохт мысленно пускал по этим рельсам поезда. Он заставлял их сталкиваться и представлял себе, как сплюсциваются, врезаясь один в другой, вагоны, наполненные людьми. Это несколько заняло его воображение. Он усмехнулся, представляя себе картины крушений. Но развлечения хватило ненадолго. Скоро все щели были использованы. Больше не осталось пересекающихся рельсов. И снова мокрая муть стала заполнять сознание. И опять стало страшно. Так страшно, что он спрятал лицо между коленями, чтобы не видеть окна, хотя за окном было уже почти светло и серые контуры виноградных листьев нельзя было принять за чье-либо лицо.

Однако как только Фохт помимо воли поднял голову и посмотрел на окно, он тут же встретил внимательный взгляд человеческих глаз. Да, да, да! Это были глаза. Глаза человека. Пристальные, чуть-чуть прищуренные глаза человека, вглядывающегося в полумрак горницы.

Фохт стиснул зубы и сунул руку в задний карман, где всегда лежал револьвер. Он забыл, что не должен шуметь и уж, во всяком случае, стрелять. Он забыл даже то, что никакого пистолета у него теперь не было. Его поселили здесь безоружным, беспомощным, чтобы вот так, как сейчас...

Он охватил голову руками и повалился на топчан. Он не разнял рук, даже услышав осторожный стук по стеклу. Мучительно хотелось думать, что это только игра воображения, расхоdivшихся нервов. Но стук повторился, и Фохт из-под локтя украдкой посмотрел на окно. Из-за широкого виноградного листа кроме глаз виднелся теперь еще нос, приплюснутый к стеклу. А палец, только что стучавший в стекло, медленно манил Фохта куда-то...

Фохт плотно сжал веки, потом, не глядя больше на окно, подбежал к двери и рванул задвижку. В то же мгновение дверь осторожно отворилась, и Фохт увидел незнакомого китайца. Глядя Фохту в глаза, он произнес пароль.

К вечеру следом за китайцем Фохт пошел в лес. Необходимо было далеко пройти берегом. Подальше от полуострова. Потом джонка перевезет его. Куда? Куда следует – туда, где Фохта ждет господин Ляо.

И вот уже два дня Фохт только и делал, что валялся в постели и ел. Ему не велено было выходить из номера гостиницы. Он охотно выполнял это приказание: постель была мягкая, простыни сухие, обед подавался на чистых тарелках, и можно было сколько угодно пить чай. К водке его не тянуло. Чем дальше, тем настойчивее стучалась мысль, что недалек час, когда он получит трубку опиума. Это и помогало ему послушно ждать, когда можно будет выйти из гостиницы.

Втайне Фохт решил, что, если и сегодня никто не придет от господина Ляо, он выйдет на улицу один. Чем он, в сущности говоря, рискует? Ведь в кармане у него уже лежит вполне доброкачественный, «чистый» паспорт. Да, да, теперь-то уж он вовсе не Фохт, а Ласкин. Настоящий Ласкин!

«Ласкин... Ласкин...» – мысленно повторял он на разные лады. С этой маленькой книжкой он чувствовал себя в безопасности. Черт их всех побери! Если захочет, он истратит на опиум деньги, выданные на расходы по гостинице. Никому нет дела, обедает он или курит. И если только до вечера...

Но именно к концу дня и появился наконец китаец-прачка, которого должен был ждать Фохт. Приветливо скаля зубы, он опустил на пол огромную корзину. От нее исходил легкий, но острый запах чеснока, черемши и еще чего-то трудно определимого, но непременно присущего китайским прачкам и портным. По этому аромату знающий человек безошибочно определит белье, побывавшее в руках китайца.

Приговаривая что-то ласковое, прачка вынимал из корзины до блеска выутюженные рубашки, воротнички, платки, полотенца. Он раскладывал все это на постели Фохта-Ласкина, хотя тот даже в лучшие времена своей эмиграции не бывал обладателем таких запасов белья. Наконец прачка закрыл свою корзину и, протянув Ласкину узенькую полоску счета, вежливо спросил по-русски:

– Ваша платить будет?

Ласкин знал, что весь этот спектакль предназначен только для горничной, замешкавшейся возле умывальника. Но чтобы помочь китайцу, он с особенным вниманием перечел счет, проверил итог. Даже подошел к постели и брезгливо пересчитал сложенные аккуратной стопкой чьи-то чужие, застиранные до белизны на пятках, носки.

Наконец горничная ушла. Китаец сразу забыл о том, что он прачка.

– Темно совсем. Можно идти. Пока в ресторане посидим – как раз девять будет, – говорил он твердо, на чистом русском языке.

Ласкин немного волновался. Чтобы его голос не выдал этого, он молча кивнул китайцу и стал одеваться. Прачка закинул за спину свою корзину и выскользнул в коридор.

Едва выйдя из подъезда, Ласкин заметил напротив гостиницы прачку, оживленно беседовавшего с несколькими китайцами. Но стоило Ласкину появиться в дверях, как тот прервал разговор и заспешил своей дорогой. Ласкин шел по другой стороне, не упуская его из виду.

Так порознь, каждый сам по себе, они прошли до угла широкой улицы. За нею открылась бухта. Она засыпала. Тяжелое, непроницаемое небо опустилось к самой воде. Оно было так плотно, что казалось – вот-вот раздавит пароходные мачты, трубы, палубные надстройки судов. Все, что было выше десятка метров, исчезло, поглощенное небом. От пароходов остались только неверные силуэты, зажатые между черным небом и еще более черной водой. Редкие точки иллюминаторов едва светились. Жидкие стрелки света, дробясь и ломаясь, кое-где прочерчивали воду. Только по этим штрихам и можно было сказать, что там не черная бездна, а поверхность бухты.

Иллюминаторов было мало, потому что в большинстве своем пароходы были грузовые. От этого рейд засыпал в неприветливой угрюмости, в безмолвии и неподвижности, словно мертвые корабли погрузились в мертвое, холодное небытие черной воды.

За дальним мысом изредка устало проблескивало сквозь мучную тьму голубоватое острие прожектора и тотчас же пугливо пряталось за гору.

Но Ласкин, бывший Фохт, не был ни любителем природы, ни вообще чувствительным человеком. Даже в далекие времена юнкерства, когда приходилось, отдавая дань девичьей сентиментальности, восторгаться луной, сиренью и соловьями, он делал это чисто механически, по раз навсегда заученному трафарету. Сегодня же все удивительное, что происходило в небе и на воде, и чем природа стремилась заинтересовать и обогатить человеческий глаз и воображение, вовсе миновало Ласкина. Его больше интересовала открывшаяся впереди перспектива улицы, размашистой дугой огней опоясавшей бухту. Это была первая улица первого большого города, в котором ему довелось быть после скитаний по деревням Китая. Огни улицы звали к себе. В них мелькали тени людей, проплывали силуэты женщин. Будь Ласкин один, он, наверно, забыл бы преподанные ему при вербовке правила конспирации. Но в десяти шагах перед ним озабоченно семенил прачка. Ласкин с сожалением оторвал взгляд от веселых огней: прачка свернул за угол. Сразу стало темно. Фонари едва теплились красными волосками ламп. Ноги неуверенно скользили по угрожающе потрескивающим доскам тротуара.

Все так же, на расстоянии десятка шагов друг от друга, миновали ярко освещенный подъезд полиции. За ним стало еще темнее, чем прежде. Однако даже в этой темноте дом, перед которым остановился прачка, казался черным. Длинный, угрюмый, без единого огонька в окнах. Тем не менее прачка уверенно толкнул невидимую Ласкину дверь.

– Подождешь меня здесь, – повелительно обронил он.

Ласкин поежился от фамильярного «ты», на которое перешел китаец. Он прислонился к кирпичной стене дома, стараясь слиться с ее чернотой. Даже сквозь пиджак шершавость кирпичей показалась такой нечистой, что Ласкин брезгливо отстранился и стал прохаживаться вдоль дома. Сделав несколько шагов, он почувствовал под ногой нечто мягкое. Хотел отбросить, но не сумел. Нагнувшись, Ласкин в испуге отпрянул: он отчетливо нащупал человеческую голову – холодный затылок, покрытый жесткой порослью волос...

Первым побуждением Ласкина, когда он очнулся, было бежать. Немедленно бежать, чтобы не попасть в свидетели какого-то темного дела, совершившегося тут. Но бежать – значило потерять проводника-прачку. А потерять его – значило не найти господина Ляо.

Ласкин стоял в растерянности. Наконец заставил себя снова нагнуться. В коротком мерцании спички он рассмотрел труп: китаец был скрючен. По-видимому, до того, как выбросить его на панель, он был упрятан в мешок.

Колени мертвеца были подтянуты к самому подбородку пригнутой головы, руки вытянуты вдоль тела. Во всем этом был виден профессионал: минимум места, минимум затраты веревки. Даже для того, чтобы подвязать колени к голове, была использована собственная коса покойника.

Холодок пробежал по спине Ласкина. В короткий миг, когда светило трепетное пламя спички, Ласкину очень ясно, вероятно навсегда, запомнился затылок с седой щетиной, проросшей из-под косы.

Заслышав легкие шаги, Ласкин бросился было прочь, но понял, что это бесполезно: тот, кто вышел из темного провала двери, был уже рядом с ним.

Ласкин с облегчением узнал голос прачки.

– Ожидаете? – спросил китаец так, будто был удивлен терпением спутника.

– Что это?

– Был человек, – беззаботно ответил прачка. – А через пять минут будет товар для полиции... Сам знаешь...

– Но при чем тут я?

Китаец тихонько засмеялся:

– Это ты принес его сюда... Зачем ты его убил?

Ласкин чувствовал, как у него противно дрожат колени. А китаец, все так же хихикая, толкнул его в плечо и заставил обернуться. В ярко освещенном подъезде полицейского участка распахнулась дверь, и оттуда вышли люди.

Ласкин понял: труп подкинут, чтобы впутать его, Ласкина. Но зачем понадобилось отдавать его в руки полиция? Они же понимают, что это навсегда выбьет его из игры?

В ужасе он вцепился в рукав прачки. Только в том, чтобы не остаться здесь одному, лицом к лицу с полицейскими, ему чудилось спасение. И тут вдруг прачка отрывисто бросил:

– Дурак! – и втолкнул Ласкина в темный провал входа.

Ласкин споткнулся о порог, на лету перемахнул две ступеньки и, едва не упав, крепко ударился о стену. Не давая ему одуматься, прачка подталкивал его все дальше по темному коридору, пока выставленные вперед руки Ласкина не уперлись в другую дверь. Она распахнулась, и в лицо Ласкину ударил угар, смешанный со смрадом горелого бобового масла. Еще шаг – и крошечная тьма сменилась ослепительным светом. Над их головами качались большие фонари из цветной бумаги, разукрашенные яркими гирляндами. От фонаря к фонарю, от вывески к вывеске протянулись шуршащие бумажной чешуей драконы. Они шевелили хвостами в клубках сизого дыма, вырывавшегося из харчевен.

Не выпуская руки Ласкина, прачка пробивался сквозь толпу китайцев. Они шумно предлагали проходящим и друг другу то, что держали в руках или таинственно высовывали из-под полы курток. Тут были контрабандные сигареты и карты, вино и носки, мыло и порнографические открытки. Ни прохожие, ни сами продавцы не обращали на все это никакого внимания,

но у всех был такой озабоченный вид и так настойчиво звучали голоса, будто здесь непрерывно совершались оживленные сделки.

Свет калильных фонарей делал лица мертвенно-голубыми. Когда, подобно спавшей волне, на миг затихали вопли продавцов, призывный звон цирюльников и пронзительный визг чайников со свистками, на тишину ложилось шипение ламп.

Для Ласкина вся толпа была на одно лицо. Глядя на кишасьее перед ним месиво смеющихся, гримасничающих и унылых людей, Ласкин ни за какие деньги не смог бы сказать, кого из них он видит впервые, а кто, может быть, уже тысячу раз мелькал перед ним. Море лиц, как волна прибоем, казалось, вобрало в себя и все черты прачки. Оторвись от него Ласкин на одну минуту, и прачка немедля утонул бы в этом потоке.

Еще несколько шагов, и проводник ввел Ласкина в узкий проход, где было уже не так ослепительно светло и не так шумно. Тут люди шли с понуро опущенными головами. Их движения были усталыми, медлительными. Здесь толкалась беднота: грузчики порта, носильщики тяжестей, землекопы. Все они были в той же одежде, в какой работали днем. Это были ветхие обноски: висающие лохмотьями штаны, куртки, давно утратившие свой синий цвет под пятнами грязи, сала, извести, угля, красок. Когда такой пасынок судьбы валился с ног, чтобы умереть под забором, его мартиролог можно было написать по следам, какие работа оставляла на одежде поденщика.

Но даже в человеческом потоке, протекавшем сейчас перед Ласкиным, можно было отличить обломки жизни, еще более убогие, нежели это темное месиво истомленных трудом и лишениями теней жизни. То были профессиональные калеки-нищие. Хромые, размахивая обнаженными культями, совершали уродливые скачки на примитивных костылях. Безрукие раздвигали толпу плечами, из которых торчали розовые хрящи суставов. Слепцы брели за поводырями, чьи спины и лица были изъязвлены кровоточащими ранами. Гной и струпья оставались открытыми – они выставлялись напоказ. Это была реклама.

Взывающие к состраданию раны были средством существования для их обладателя и источником наживы для его «хозяина». Да, да, и у этой гнилушки, плывущей среди страшного потока бедствий, имелся хозяин, эксплуататор – все тот же господин Ляо, владелец этого страшного квартала. Крайняя степень отчаяния низводила безработных на положение животных, над которыми трудилась целая корпорация специалистов по увечьям. Лишившись ноги или руки, чернорабочий шел к врачам господина Ляо. Под обязательство отдавать хозяину, то есть тому же господину Ляо, половину собранной лепты, хирурги-специалисты превращали увечья в отвратительное зрелище напоказ сердобольным людям.

Загнанный судьбой землекоп, лишившись правой руки, соглашался на то, чтобы специалисты господина Ляо ампутировали ему и левую. Нищий без обеих рук представлял собой лучший источник дохода, нежели однорукий, – такие уже не были диковиной! Особо желанными объектами для врачей Ляо были обожженные.

Если ожог был так удачен, что не только обезобразивал лицо страдальца, но еще и лишал его глаз, это было отлично. Его веки можно было вывернуть и, смазывая разъедающей жидкостью, заставить слезиться кровавыми слезами; вместо рта ему можно было сделать оскаленную пасть. В ней были видны гноящиеся десны и распухший язык. Такому нищему прохожие кидали столько медяков, что и половины их господину Ляо хватило бы на парочку хороших сигарет. А ведь он, говорят, курил только лучшее, что имелось на мировом рынке.

Над печальной чередой бредущих людей висела тяжкая мгла, это был все тот же чад все того же бобового масла. Его вонь, смешавшись с острым запахом чеснока, пота и отхожих мест, ударила в нос так, что даже попривыкший уже Ласкин замотал головой. Ничуть не легче было под крышей полутемной харчевни, куда прачка повелительно втолкал Ласкина.

Ласкин попросил только чаю. А прачка наслаждался. Причмокивая, шипя от удовольствия, он навивал на палочки длинные шнуры лапши и набивал их за щеку. После лапши

ему подали креветок. За креветками последовала испускающая острые пары смесь из морской капусты и трепангов.

Ласкин с раздражением следил за тем, как китаец насыщается. Казалось, конца-краю не будет блюдам. Наконец, не выдержав, Ласкин спросил:

– Нам не пора? – и показал на часы.

Прачка громко рыгнул. Раз, другой. Искоса оглядев харчевню, он убедился в том, что слежки нет. Молча расплатился и так же молча, уверенный в том, что с Ласкиным не о чем говорить и что русский поспешно пойдет за ним, не оглядываясь, вышел из харчевни.

Там, где кончался ряд харчевен и лавок, они свернули в темный проулок. Стены домов сошлись тут так тесно, что два человека едва могли разойтись. Было почти совершенно темно. Чуть слышно ступая на железные ступени, прачка стал уверенно подниматься по лестнице, проложенной снаружи стены дома.

Ласкин едва поспевал за ним. Ступеньки были узки и скользки. Ласкин мысленно представил себе, как трудно было бы удержаться на них, если бы кто-нибудь толкнул его. Миновав два этажа, вошли в дом. В черном, как сама чернота, колодце, ориентируясь только по звуку шагов впереди, Ласкин с трудом поднялся еще на один этаж. Этот недолгий подъем утомил его, как горное восхождение. Все пять органов чувств были бессильны ему помочь. Он мог только догадываться, что находится в просторном коридоре. Он шел осторожно, выставив вперед руки. Вокруг слышалось шуршание многочисленных шагов. Щеки ощущали иногда чье-то дыхание. Но никто на него не натыкался.

Это до жути смахивало на то, что вокруг снуют летучие мыши. Но Ласкин знал: это люди. Он только удивлялся тому, что они так уверенно двигаются во тьме.

Внезапно в лицо ему ударил ослепительный свет. Сверкнул и тут же погас. Ласкин растерянно остановился. Неподалеку он услышал голос своего проводника. Тот что-то произнес по-китайски. Очень коротко и негромко. Еще тише, по-видимому, из-за затворенной двери, прозвучал ответ.

– Джангуйды здесь нет, – сказал проводник, и Ласкин понял: эти слова предназначены ему, речь идет о господине Ляо.

Они снова спускались по темным лестницам, пока под ногами не оказалась скользкая, залитая помоями земля. Высоко над головой Ласкин на миг увидел ласковую чернь ночного неба и несколько робко мигнувших звезд. Видно, там прояснело.

Не давая ему опомниться, проводник подтолкнул Ласкина к новой двери. И снова – непроглядная темень бесконечного коридора. Вот они спугнули кого-то. Человек побежал перед ними. Его шуршащие шаги замерли вдали. То ли он убежал, то ли остановился впереди и поджидал их, – Ласкин ничего не видел. Прачка отрывисто крикнул. Ровно настолько громко, чтобы кто-то невидимый мог его слышать. И скоро Ласкин почувствовал, – не увидел, а только угадал, – что убежавший вперед пропустил их перед собой и вернулся на свой пост у дверей.

Скоро прачка остановился и постучал. Опять отрывистый пароль, и они прошли мимо нового сторожа. Этот, видимо, был уже не так начеку. Ласкин угадал это по мигнувшему в темноте красному глазку трубки. Только этот крошечный огонек, затлевший при затяжке, – и снова темнота.

Еще несколько десятков шагов. В щель из-под двери стал заметен свет. Они вошли в подвал, освещенный керосиновой коптилкой и разгороженный надвое переборкой из нестроганных досок. Стены были глухи. Ни окна, ни отдушины. Настоящий каменный мешок. Могила, где можно похоронить любые дела и откуда наружу не вылетят никакие вопли.

В одной половине стоял стол. Простой, дощатый, до глянцевого черноты отполированный человеческими прикосновениями. Окутанные густыми клубами дыма игроки тесно окружили банкмета. В полном молчании, с азартом, походившим на ожесточение, они выкиды-

вали карты. Слышалось шлепанье по столу узких ленточек китайских карт. Стопка кредиток посреди стола быстро нарастала и еще быстрее расхватывалась после каждого круга игры.

В соседней каморке стол был круглый. Банкомет с гортанным, высоким до пронзительности криком выкидывал из стакана крошечные кости. С непостижимой быстротой он считал очки и распоряжался ставками. Понтеры молчали, как мертвые. Подобно картежникам, они целиком ушли в игру. При входе Ласкина никто не обернулся. Только сидевшая чуть в стороне широколицая китаянка на миг подняла на него глаза, но тотчас снова из-под локтя какого-то игрока уставилась на кости.

– Господина нет и тут, – сказал проводник.

Ласкин повернул было назад, к двери, но она исчезла. На обоях не осталось даже щели. Выход оказался на противоположном конце подвала. Сюда входили одним путем, а выходили другим.

После спертой до осязаемой густоты атмосферы игорного притона даже зараженный нечистотами воздух двора-колодца показался Ласкину облегчением.

Миновав насколько дверей, прачка снова нырнул в какую-то подозрительную нору. Опять метнувшийся в темноту сторож. Опять шорох «летучих мышей». Лестницы, переходы, длинный коридор. Тьма. Короткий укол лучом карманного фонаря. Мимолетный опрос шепотом, и проводник условным постукиванием царапается в дверь. Судя по звуку, она обшита железом.

Но на этот раз дверь открывается только после долгого, тщательного опроса. За нею – просторная кухня. Опрятно, светло. Шипит, калильная лампа под потолком. Возле плиты – толстый пожилой китаец. Он меланхолично жарит рыбу.

Проводник Ласкина не обращает на него внимания. Тут же за столиком, склонившись над недоеденной тарелкой капусты, другой китаец. Отставив зажатые в кулаке палочки, он глядит в раскрытую книгу. Его губы шевелятся. Он поглощен чтением и не замечает вошедших. Совершенно очевидно: это посетитель странной харчевни, почему-то укрытой за железной дверью. Но именно к нему с неожиданной почтительностью обращается прачка. Несколько мгновений голова читающего все так же размеренно двигается снизу вверх по вертикальным строчкам книги. Потом он так же молча запускает пальцы в тарелку и из-под листьев капусты достает ключ. Повар все с тем же равнодушным видом вкладывает ключ в скважину двери, оклеенной обоями заодно со стеной и заколоченной крест-накрест тесинами.

Ноздри Ласкина жадно раздуваются: на него пахнуло горьковато-приторным ароматом опиума. На просторных нарах лежат китайцы. Одни устало разметались. Другие, лежа на боку, уютно поджали ноги и, как дети, подложили ладонь под щеку. Иные спят на спине, закинув голову и оскалив зубы. Испитые, мрачно-сосредоточенные лица тех, кто еще не спит, прозрачно-серы. Их глаза, то ли испуганные, то ли исполненные звериной жажды, устремлены на шипящий в трубках опиум. Один, видно, только что улегшийся на нары, ищет удобную позу. Он с жадным нетерпением смотрит, как мальчик разогревает опиум. Черный шарик шипит на длинной игле, распространяя липкий, тянущий на дурноту запах.

Еще немного – и Ласкин утратит власть над собой, бросится на нары...

Он оглядывает лежащих китайцев. Это все бедняки – те же чернорабочие, грузчики. Их одежда изношена и грязна настолько, что на нарах отпечатываются следы скорченных тел.

Пока прачка с кем-то переговаривается сквозь внутреннюю переборку, приложив к ней ухо и, кажется, забыв о Ласкине, тот пытается войти в сделку с прислуживающим мальчиком, молча кладет ему на ладонь кредитку.

Мальчик бросил на деньги короткий взгляд и тоже молча покачал головой.

Ласкин прибавил еще один червонец.

Снова отрицательный кивок мальчика.

– Сколько же ты хочешь? – сердито шепчет Ласкин.

Мальчик отвечает по-китайски, Ласкин не понимает.

– Он говорит, что трубка стоит дешевле. – Это уже голос прачки. Его рука ложится на плечо Ласкина. – Только деньги надо платить не ему. Хозяин получает деньги. – Прачка сжимает плечо Ласкина и жестко говорит: – Идем.

Ласкин сбрасывает его руку.

– Одну трубку!

– Можно десять, – смеется прачка, – только потом.

– Одну!

– Потом, – повторяет прачка и уходит в кухню.

Там он что-то говорит хозяину, изображающему равнодушного посетителя кухмистерской. Тот отдает приказание повару. Толстяк поднимает одно из поленьев, сваленных возле плиты, и подает хозяину. Через минуту хозяин протягивает прачке несколько тонких плиточек. Сквозь папиросную бумагу обертки просвечивает темная сочность опиума. Ласкину кажется, что он слышит его запах. Он тянется к пакетику дрожащей рукой, но прачка кладет опий себе в карман.

– Потом.

И идет к двери.

Ласкин с завистью думает о тех, кто остался в опиесурильне. Он знает, что старому, пристрастившемуся к наркотику курильщику нужно три-четыре, а подчас и пять трубок. Значит, на то, чтобы забыться, наркоману нужно больше, чем весь его дневной заработок. Что же он ест, чем платит за ночлег, на что одевается, что посылает семье?

Впрочем, для курильщика все это не имеет значения. Важна возможность раз в два или хотя бы в три дня накуриться на этих нарах. Можно не есть, ходить в рубище, спать где попало. Опиум заменяет все. Еду, платье, кров, даже любовь. Что такое дом, семья? Что такое привычки, привязанности и самая жизнь для курильщика опиума?! Нужна трубка и шипящие черные шарики, испускающие удушливый дым. Этим начинается и этим кончается бытие. В этот круг замкнуто его мышление. Таков порочный круг его мечты, его вожделений, его существования.

Ласкин еще не так захвачен этой манией, но еще немного – и он тоже забудет все, кроме трубки. Это хорошо знает его молодой проводник. Его задача – не подпускать Ласкина к трубке, пока тот не представлен господину Ляо. Поэтому проводник почти силой вытаскивает его из курильни.

Они минуют двор и узким лазом выходят на улицу. Она объята недвижной чернотой сна. Справа сияют огни города. Небо уже ясно. Ласкин останавливается и жадно втягивает воздух. Ему кажется, что он вырвался в жизнь и ничто не заставит его вернуться в ад. Разве только... опиум?..

Опиум!..

Прачке не до его переживаний. Он спешит: Ласкин должен быть представлен господину Ляо. Прачка слишком хорошо знает, что значит для такого маленького человека, как он, нарушить железное «должен». Господин Ляо даже не рассердится. Он ничего не скажет. Но если неисправность проводника нарушит планы господина Ляо, – а в голове у господина Ляо всегда важные планы, – то с проводником может случиться все, что угодно. Именно так: все, что угодно! То подобие человека, что лежало сегодня на тротуаре, – напоминание не одному новичку Ласкину. О нем очень хорошо помнит прачка-проводник, хоть он и храбро смеялся над страхом, охватившим Ласкина при виде скрюченного покойника.

Проводник знал владения господина Ляо. Он мог в любой темноте найти любой их закоулок. Но Ласкина подавляли налезавшие друг на друга каменные корпуса с тысячами нагрожденных внутри дворов-клетушек. Теперь он знал, что внутри этого огромного каменного квадрата кипит жизнь. Но ни в одном из окон, выходящих на улицу, он не заметил даже огарка.

Ни в одну из тысяч каморок внутреннего городка не было проведено электричество. Свеча и в лучшем случае – керосиновая лампа, которую можно задуть при малейшей тревоге, – только это допускалось господином Ляо. Владелец квартала скорби и порока меньше всего думал о том, что живущим в нем и приходящим в него нужны воздух и свет. Его не беспокоило отсутствие окон. Он заботился о том, чтобы ни один звук не мог вырваться из квартала. Вся каменная громада квартала, внутри которого, как муравьи, снуют люди, снаружи всегда остается молчаливой и темной, как будто чума выкосила в нем все живое.

– Послушай, – тихонько спросил Ласкин, – сколько людей живет в этом доме?

– Двадцать тысяч, – не задумываясь, ответил китаец, и это было правдой. – Теперь только двадцать тысяч, – с оттенком сожаления повторил он. – Господин Ляо очень сожалеет. Раньше было сорок.

«Только» двадцать тысяч человек населяло теперь каменный квадрат квартала. Номинально контролируемые полицией, опекаемые агентами господина Ляо, дома квартала не признавали никого, кроме своего тайного хозяина – господина Ляо. Только его приказы имели силу железного закона. Ему вносилась настоящая арендная плата за каждый вершок площади; ему принадлежали все притоны, воровские малины, склады краденого, убежища для диверсантов, шпионские явки, подпольные абортарии, публичные дома. Ему принадлежали и тела, и души двадцати тысяч людей, теснившихся в этом доме-квартале.

Двадцать тысяч человек, неуловимых для полиции! Двадцать тысяч людей с именами, нигде не зарегистрированными, никому не известными, кроме агентов господина Ляо, двадцать тысяч людей, лица которых казались неразлично похожими одно на другое. Двадцать тысяч людей, давно забывших, что такое адрес, смотрящих на документ, как на докучное изобретение канцелярских бездельников или как на предмет купли-продажи. Это был товар, выгодный для продажи и невыгодный для покупки. Поэтому девятнадцать тысяч из двадцати, раз навсегда избавившись от своих документов, избегали необходимости покупать новые. По мере надобности они ограничивались тем, что брали на подержание чужой документ. При приближении полицейских облав тысяча липовых бумажек переходила из рук в руки у двадцати тысяч жителей квартала. О налетах узнавали заблаговременно. Для этого достаточно было иметь разведку в полиции. Органы власти предпочитали не вести открытой войны с населением квартала. Это было бы войной с господином Ляо. А господин Ляо был достаточно богат, чтобы избежать войны с властями...

В путанице закоулков, отношений, влияний проводник Ласкина ориентировался ровно настолько, сколько нужно было, чтобы выполнять приказы господина Ляо.

Сегодня приказ гласил, что прачка должен отыскать хозяина в одном из указанных пунктов квартала и там передать ему русского белогвардейца, именуемого теперь Ласкиным. У прачки не было охоты рассуждать. Он, как скользкий червь в гнойную рану, снова проник внутрь дома, увлекая за собой Ласкина. Они миновали два-три внутренних дворика. По стенам каменных громад в несколько ярусов лишаями лепились косые и кривые лачужки. Нижние ярусы этих человеческих гнезд больше походили на кучи мусора, чем на строения. Верхние были подобны кривым ящикам, наскоро прибитым к стене и залатанным кусками ржавого железа, фанеры, толя. Жидкие, дрожащие всеми суставами стремяночки соединяли между собой жилища существ, не нашедших себе места на твердой земле.

Прачка уверенно подошел к чему-то, что показалось Ласкину кучей беспорядочно сваленных ржавых бидонов, прикрытых плоской шапкой дерна.

– Господин может быть здесь, – сказал прачка, косясь на кривую дверь.

На ее створках даже в полутьме двора были видны кружки сургучных печатей, соединенных шнурком. Прачка осторожно постучал в дыру, прикрытую осколками стекла, наклеенными на бумагу. Это окно было слепо, как глаз с бельмом. При всем желании нельзя было видеть того, что за ним делалось. Но, очевидно, слух прачки уловил за ним движение. Прачка

пробормотал пароль, отворявший все двери, как золотой ключ волшебника. Этим волшебником был все тот же господин Ляо.

Ласкину казалось, что они долго ждут возле слепого окна. Но, может быть, колотье в ногах появилось у него только от нервного напряжения, а ждали-то они всего какую-нибудь минуту?

Дверь с печатями отворилась. Прачка первым пропустил в нее уже ничему не удивлявшегося Ласкина.

Несколько крутых земляных ступенек вели в темный подвал. Не сразу Ласкин разобрал едва отличимый от стены квадрат низкой двери. За нею колыхался отсвет фитильной копилки. Лишь в тот момент, когда от фитиля с треском отскочила искорка и он вспыхнул чуть-чуть ярче, Ласкин различил плотную массу людей, набившихся в заднюю каморку. Это были настоящие мертвецы. Прозрачная желтизна бледности уже перешла на некоторых лицах в землистую серость. Когда глаза Ласкина привыкли к темноте, он увидел, что все сидящие в ряд на канне полураздеты. Мужчины и женщины – все были обнажены до пояса. Их руки, худые, как плети, покорно лежали на коленях. Люди в молчании подвигались по кану к следующей двери, чуть-чуть более светлой, чем первая.

В каморке висел тошнотворный запах нечистой одежды и нечистых тел.

В ногах молчаливой, сидя передвигающейся очереди по глинобитному полу полз человек. Выкинув вперед несгибающиеся, тощие, похожие на обломки костылей руки, он подтягивал к ним скованное параличом тело. Он был так стар и жалок, что даже эти привыкшие ко всему привидения не смели помешать ему опередить их в вожаемом движении к светлой двери.

Старик был гол. Жалкая бахрома, висевшая вокруг его бедер, не скрывала наготы. Его голова была покрыта серыми, слежавшимися космами, похожими на сплошной струп. Она болталась из стороны в сторону при каждом движении старика. Тело напоминало годами не обтиравшееся от пыли чучело огромной ящерицы. Словно его притащили сюда из паноптикума, сломав по дороге все шарниры, скреплявшие сгнивший скелет, и теперь на веревке волокли к заветной двери.

Только глаза старика говорили о том, что это не глиняное чучело. Мутные, словно слепые, они вспыхивали почти неправдоподобным огнем желания, когда старик находил силы поднять голову и взглянуть на светлую дверь.

При его приближении сидевшие на кане беззвучно поджимали ноги.

Первой у двери сидела молодая китаянка. Судя по ее виду, она тут не слишком давний гость. Ее лицо уже осунулось, глубокие морщины легли вокруг рта и у глаз, но кожа еще не помертвела, как у других, мышцы еще не до конца потеряли упругость. Едва уловимая краска жизни еще оттеняла без стыда обнаженное тело. Если бы не каменное равнодушие лица и не мертвая мутность взгляда, ее даже можно было бы принять за нормального человека. Но здесь никому не было до нее дела. Никто не обращал внимания на ее стройное тело, на маленькие, острые, как половинки лимона, не успевшие увянуть груди. Здесь она была только тенью, еще одной тенью, отделяющей каждого сидящего в очереди от заветной двери.

Во второй каморке свет маленькой десятилинейной лампы, поставленной прямо на пол, чтобы ее удобнее было быстро задуть, вырывал из полутьмы каждого следующего, подползающего из очереди к двум сидящим на корточках китайцам.

Один, постарше, принимал деньги. Он просматривал на свет, аккуратно расправлял засаленные кредитки и укладывал их в большую коробку из-под печенья. Отдавший деньги подползал ко второму китайцу – помоложе. Перед тем стояли две баночки с морфием, лежал шприц и небрежно оборванный клочок газеты.

Клиент приближал к лампе ту часть тела, где еще сохранилось неколотое место. Даже под покрывавшей тела грязью можно было без труда увидеть, что таких не пораженных уколами мест у большинства было очень мало или уже не было вовсе.

Вот пододвинулся китаец, чей возраст невозможно определить: кожа на его лице висит такими же древними складками, как и на теле. Впрочем, оператора не интересует его лицо. Он не поднял взгляда выше спины, подставленной морфинистом. Под шершавым слоем струпьев спина походила на дно крупного решета. Черные точки старых уколов окружены беловатыми венчиками припухлостей. Нет ни одного квадратного сантиметра, куда еще не входил шприц с морфием. В этой спине – целое состояние. Она стоит всей пищи, одежды, жилья, всего тепла, радости, света, всех материальных и духовных благ, какие были отпущены жизнью ее обладателю. Она стоит жизни его маленьким сыновьям, старой матери, она стоит голода его жене, она стоит его дочери пожизненного рабства в публичном доме.

Оператор быстрым, равнодушным взглядом окидывает спину. Внизу, у самого сидения, он отыскивает крошечный клочок еще не пораженной кожи и вонзает иглу шприца. Игла тупая. Судорога пробегает по серой спине. Из-под иглы выступает капелька бледной, как грязная вода, крови. Оператор прижимает к ней клочок газеты, носящей следы всех ранее сделанных уколов, и равнодушными пальцами, глядя, как падает в коробку следующая кредитка, растирает желвак на месте укола. Еще одно неторопливое движение – и опущенная в баночку с морфием игла снова набирает прозрачную жидкость.

Уколотый отползает в сторону...

Прачка тронул Ласкина за плечо:

– Господин был тут, но его уже нет. Теперь я знаю, где он.

На пустынных улицах было уже почти светло. С проясневшего неба, сталкиваясь в беспорядочной суете, убегали последние тучки. Они уже не могли скрыть землю от ухмыляющегося кривым и прозрачно-бледным профилем ущербного месяца. Бежавшие им наперерез светлые облачка впопыхах или шутки ради нет-нет да и цеплялись кудрявым краем за острый лунный рог, срывались и мчались дальше – растрепанные, веселые.

Город был отлично виден с высоты нагорного уступа, куда, прорубаясь сквозь скалу, выбиралась узкая немощеная улочка. Город спал, зажав в объятиях красавицу бухту. Сон города, уверенного в своем покое и безопасности, был так крепок, словно фантастической выдумкой было все только что виденное Ласкиным; будто не существовало ни того квартала, ни его тайного, хотя известного всем, хозяина – господина Ляо.

Одышка заставила Ласкина приостановиться на крутом повороте горной улочки.

Справа темнота улетаала в пропасть оврага; слева нависла бурая гряда исполосованной динамитом скалы.

Ласкин поглядел на проводника, и его лицо искривилось в жалкой усмешке. В чертах проводника Ласкину почудилось нечто, чего он не замечал прежде в добродушном китайце: с таким прачкой он не хотел бы встретиться один на один, не исполнив приказания господина Ляо.

Проводник же, откровенно улыбаясь, посмеивался над Ласкиным. А косившийся на землю месяц смеялся над проводником и Ласкиным вместе.

Одышка прошла, но Ласкин продолжал стоять, прислонявшись к холодному камню скалы. Стоял и думал: стоит ли жизнь того, чтобы заставлять себя тащиться за этим китайцем, послушно исполнять его приказания, трепетать перед каким-то таинственным господином Ляо? Не проще ли столкнуть сейчас прачку с обрыва и исчезнуть обладателем отличного паспорта, советским гражданином Ласкиным? Кто и что помешает ему немедленно отправиться туда, где не существует власти господина Ляо? А там?.. Пойти в ГПУ, положить на стол паспорт, открыться во всем, высказать одно-единственное желание: стать человеком, обыкновенным человеком страны, в которую он вернулся, чтобы жить, как живут все... Все?! А хочет ли

он жить, как все? Какие такие «все»? Такие, как он?.. Какие «такие»?.. На что такие, как он, имеют там право? Что найдет он там? Все ту же советскую власть, тех же большевиков, ту же всенародную ненависть к баронам, недоверие к золотым погонам... А впрочем, он, кажется, уже запутался. Какое баронство, какие погоны? Ведь он же вовсе не Фохт – он Ласкин. Всего только Ласкин, чье прошлое ему и самому-то неизвестно. А что, если у этого Ласкина такой же грязный хвост, как у него самого? Стоит только сунуться – и... Чепуха! Такого паспорта господин Ляо не прислал бы своему агенту...

И все же?..

Все же разумнее всего повидать господина Ляо. Узнать, чего хотят его новые хозяева. Ведь когда его переправляли сюда, ему сказали, что придется выполнить одно-два несложных поручения – и он свободен. Сможет остаться в России, вернуться в Китай. Свободен и при деньгах... Тогда и будет время подумать о дальнейшем...

Из-за выступа скалы выглянул проводник.

– Скорее! Поздно.

Ласкин посмотрел на часы.

– Да, скоро три.

– Идем, идем!

Еще два-три поворота нагорной улицы – и прачка позвонил у садовой калитки. Очевидно, этот звонок был чистой условностью, потому что китаец тут же прокричал что-то свое гортанное, неуловимое для уха Ласкина. Произошло легкое движение в кустах у калитки, и стукнула задвижка. Они вошли. Тот же короткий стук задвижки за спиной – и прачка, вдруг утративший всю уверенность чересчур развязного ласкинского спутника, засеменил по дорожке к крыльцу так, что каждый его шаг был целой поэмой подобоострастия.

В таких домах по окраинам этого города, вероятно, жилали коммерсанты средней руки и чиновники невеликого ранга. Это был обыкновенный, скучный с виду дом. И обстановка в этом доме должна быть провинциально обыкновенной. И люди, наверное, самые обыкновенные, очень мирные и скучные люди. И уж во всяком случае, в них не должно быть и тени сатанинской таинственности, в какую этот прачка пытался облечь господина Ляо.

От этих мыслей Ласкину стало спокойней. Все показалось куда проще, чем прежде. Совсем хорошо, если господин Ляо – обыкновенный китаец, который поведет с ним обыкновенный деловой разговор. А за то, что это именно так и будет, говорит скромная обывательская передняя с вешалкой и кружком для зонтиков, с зеркалом над столиком, где лежат две обыкновенные щетки. И пальто на вешалке обыкновенное, и панама с черной ленточкой и шнурочком. И даже бой в белоснежной, куртке, учтиво склонившийся перед Ласкиным и указавший на дверь в комнаты, был решительно обыкновенным боем.

Ласкин смело переступил порог хозяйского кабинета и с удовольствием установил, что и тут все очень обыкновенно. Так обыкновенно, что ни одна деталь обстановки не бросается в глаза. Кажется, захотел бы потом рассказать, что видел, – и не вспомнишь.

За небольшим письменным столом – человек в скромном костюме. Если что и бросалось в глаза, то разве только очень белый и, видимо, очень твердый крахмальный воротничок. «Наверно, стирки моего чичероне», – промелькнуло в голове Ласкина, и он собрался было усмехнуться. Но усмешка не успела скользнуть по его губам, – сидящий за столом поднял лицо. Одного его взгляда было достаточно, чтобы Ласкин замер там, где был, чтобы руки его сами вытянулись по швам, каблуки сошлись, и рот остался полуоткрытым, не успев улыбнуться. А ведь непременно нужно было улыбнуться!

Господин Ляо смотрел на Ласкина без тени интереса к тому неожиданному, что человек всегда может встретить в новом знакомом. Взгляд Ляо говорил о том, что его обладатель – и никто другой – является неоспоримым, признанным и не сомневающимся в своей власти хозяином всего окружающего и всех окружающих. Этот взгляд был равнодушен. Так равноду-

шен ко всему и ко всем, что не было, казалось, обстоятельств, событий или людей, способных его заинтересовать.

Господин Ляо показал Ласкину на стул против себя.

– Рад видеть вас, – сказал он довольно чисто по-русски. Но Ласкину показалось, что согласные звучали в его речи вовсе не как у китайцев. И выпуклые крупные зубы были необычны для китайца...

Голос его, ровный и монотонный, как нельзя больше подходил ко всей его внешности, лишенной сколь-нибудь характерных примет. Во всем его облике глазу не за что было зацепиться. Ни одной черты в лице, которая делала бы его выдающимся или хотя бы приметным, отличным от тысяч и миллионов других лиц. Разве только эти выпяченные зубы. Такой мог быть бухгалтером, прачкой, кондитером, врачом, палачом, министром – решительно кем угодно, и, безусловно, всюду на месте. Ни малейшей шероховатости. Весь он был какой-то гладкий, словно хорошо отутюженный, – от глянца черно-синего пробора до поблескивающей кожи на скулах; от скул до желтых крупных зубов; от зубов до уже замеченного Ласкиным тугого мрамора воротничка; от воротничка до блестящего серого пиджачка из чесучи; от рукавов пиджачка до матового блеска кожи на руках и выпуклого перламутра ногтей, – все было гладко, блестело, впрочем, ровно настолько, чтобы, оставаясь в пределах подчеркнутой опрятности, не выходить за границу скромности. Только толстый обруч серебряного браслета, постукивавший о стол при движении руки господина Ляо, был вне норм повседневной одежды служащего среднего ранга.

Господин Ляо мельком глянул на стоящего у порога прачку. Улыбнувшись Ласкину, негромко и монотонно проговорил:

– Не смею решать за вас, но мне кажется, что этот человек вам больше не понадобится. Если вы запомнили дорогу сюда... – Не договорив, он вопросительно посмотрел в глаза Ласкину.

Тот знал, что самое правильное сознаться, что он не помнит дороги. Но ему почему-то захотелось поскорее согласиться с господином Ляо.

А тот еще прежде, чем Ласкин успел это высказать, мягко проговорил:

– Вы получите другого проводника. Ведь вы не имеете возражений? Я позволяю себе отпустить этого человека. – И так, будто уже получил согласие Ласкина, он едва заметным движением пальца отпустил прачку.

– Вы не сочтете невниманием с моей стороны то, что я не задаю вам вопросов? Давайте считать, что мы знаем друг о друге ровно столько, сколько нужно каждому из нас...

И опять Ласкин успел отметить, что эти «столько» и «сколько» звучали как «сторику» и «скорику»... Подобное произношение ему часто доводилось слышать в Китае, но вовсе не от своих китайских инструкторов. Так неужели?..

Однако додумать он не успел: господин Ляо сделал паузу, ожидая ответа. Но и пауза эта заняла ровно столько секунд, сколько Ласкину понадобилось, чтобы успеть подумать: «Еще бы! Небось, знаешь всю мою подноготную, а я не знаю даже твоего настоящего имени». И опять, прежде чем он успел ответить, господин Ляо продолжал:

– Истина, ясная каждому из нас: мы друзья. Я друг русских офицеров, приезжающих к нам. Все мои усилия направлены к тому, чтобы сделать легче жизнь тех, кто стоит на стороне порядка. Порядок – понятие, которое одинаково понимается благомыслящими людьми в Китае и в России. Мне известно, что вы так же смотрите на вещи. Как только вы захотите – к вашим услугам новый паспорт, какой вы пожелаете иметь. Вы сможете получить столько денег, сколько будет нужно для устройства ваших дел там, куда вы пожелаете ехать... Так же как и мои высокие доверители, я придерживаюсь взгляда, что желания человека – это главное. Если нет желаний – нет и жизни. Благоразумие состоит вовсе не в том, чтобы возвышаться над желаниями. Подобные противоестественные воззрения Чжу-си опровергнуты светлым умом Дей

Чжэня. Человек рождается для того, чтобы удовлетворять свои желания. Он не должен и другим людям мешать в исполнении их желаний. Напротив того – помогать в их осуществлении, как помогаю вам я.

Говоря таким образом, господин Ляо встал из-за стола и пригласил Ласкина перейти в гостиную. Ласкин погрузился в атмосферу спокойного расположения, овеванного дымом сигары. Господин Ляо сбросил с себя ту сдержанность, какой веяло от него за столом в кабинете. Здесь он стал гостеприимен, как широкая прозрачная чашка, благоухающая паром зеленоватого чая. От господина Ляо веяло очарованием тонкой старины, которой едва коснулась рука современного лоска. Эта же своеобразная смесь старины, приправленной комфортом двадцатого века, была кругом и завершалась древним, как храм Будды, бронзовым чайником, от которого тянулся шнур к электрическому штепселю.

Господин Ляо взял со столика маленького нефритового бонзу. Перламутр холеных ногтей хозяина поблескивал на матовой поверхности старого камня. Господин Ляо вертел фигурку, разглядывая смеющегося бонзу так, будто видел его впервые. Он погладил толстый отполированный животик с глубокой ямочкой пупа, провел ногтем по складкам сморщенного каменного лица. И улыбнулся.

– Вы знаете, над чем он смеется? – И, опять не ожидая ответа Ласкина: – Над тем, что вот уже сорок веков на протяжении всей известной нам, записанной истории человечество болтает о принципах, которые ничего не стоят. Ни взятые сами по себе, ни в применении к практике! Они не больше как упражнение мысли. История доказывает, что принципы не имеют никакого отношения к ее собственному ходу. Чингисхан, Тимур, Наполеон? Разве не необузданность желаний руководила этими попытками создания мировых империй? При чем тут принципы?.. – Господин Ляо продолжал задумчиво поглаживать, вероятно, потеплевший от его пальцев нефрит фигурки. Ласкин не понимал, о чем говорит его хозяин, и не пытался отвечать. Только мучительно думал: чем это кончится? А господин Ляо говорил:

– Меньше говорить о принципах, а больше изучать проблемы, – так сказал Ху Ши. Проблема – это неосуществленное желание. На его осуществлении сосредоточивается вся энергия человечества. Важнейшим желанием великих умов современности является преобразование разноплеменного мира в единую стройную систему, где жизнь направлялась бы мудростью и волей одного народа, самого историчного, такого, как наш древний народ. Нужна система порядка. Белая раса может разработать ее теоретически, но не способна осуществить и блюсти. Это сделает желтая раса. Из всех великих народов, населяющих восток и юго-восток Азии, только наш народ может взять на себя миссию преобразования мира.

На этот раз, воспользовавшись невольной паузой, вызванной тем, что господин Ляо раскуривал новую сигару, Ласкин успел вставить:

– А Япония? Разве она не мечтает об этой роли?

Господин Ляо, прищурившись, посмотрел на него из-за дымного облака и рассмеялся.

– Из истории Рима мы черпаем блестящий опыт использования союзников для достижения целей империи. Да, Япония так же мечтает о завоеваниях, как мечтал Карфаген. И так же, как Карфаген, она будет уничтожена теми, кто использует ее в своих целях. Японцы полны энергии. Это отличный таран для тех, кто сумеет его использовать. Вопрос в том, имеет ли Япония право на ту степень власти, какую история предопределила народам, населяющим Азию? На этом пути нас не должны соблазнять идеалы. Справедливость, честность, терпимость, милосердие и права обездоленных – все это только материал для украшения подлинного смысла, которым руководится разумный политический деятель. Цель – это власть. Власть достигается силой. Все принципы должны быть использованы лишь как средство морального оправдания стремления к силе. Но и они нужны лишь на пути к цели. Когда она достигнута, оправдания ни к чему. Только сила способна оправдать власть силы. Силы добиваются не во имя и не ради

утверждения моральных принципов. Напротив того: моральные принципы и так называемые идеалы используются для достижения силы, облекая ее в одежды миролюбия и гуманности.

– Вы хотите сказать... – начал было Ласкин, но тут же умолк, так как вовсе не понимал того, что хочет сказать собеседник. Он вообще предпочел бы перейти к более конкретным предметам, вроде того, на что, например, он сам может рассчитывать за то, что согласился уехать туда, где чувствовал себя хотя бы в безопасности.

Господин Ляо не удостоил его ответом. Даже не повернулся к нему. Он поднял перед собой хохочущего нефритового толстячка и засмеялся. Вероятно, он смеялся своим мыслям. А вместе с ним смеялись на этажерках божки и бонзы, поблескивавшие масляной желтизной слоновой кости. Одни – загадочно улыбаясь, другие – надувая щеки в гомерическом хохоте, глядели на Ласкина отовсюду: из-за стекол шкафов, с полочек, со столиков. Они были смешливы, как толстые дети, и вместе с тем лукаво загадочны, как драконособаки. Может быть, в отличие от Ласкина, они хорошо понимали, что имеет в виду господин Ляо?

С этой восточной рамой господин Ляо сливался так же органично, как незадолго до того он без зазора и щелочки был вправлен в европейскую раму своего сухого кабинета. И Ласкин понял, что нет и не может быть обстановки, неотъемлемой частью которой не стал бы господин Ляо. Вероятно, даже в притонах, где его искал сегодня прачка, господин Ляо был так же на месте, как любой из клиентов. Подумав об этом, Ласкин понял: так же как скрюченный труп того китайца, притоны были частью иллюстрации, которая должна была показать ему до конца, что может ждать человека, выброшенного из жизни движением пальца господина Ляо. Ласкин понял: если за послушание его и не убьют, то при склонности к опиуму он превратится в одного из тех, кого ему показали в таком изобилии.

Маленькими глотками отхлебывая чай, господин Ляо посвящал Ласкина в «небольшие условия», при которых, «если господин Ласкин не возражает», его желания будут исполнены. Свобода, паспорт, деньги и средства переправы в любом направлении – все будет к его услугам в тот день, когда господин Ляо узнает, что он, Ласкин, вошел в дом начальника Владивостокского судоремонтного и судостроительного завода товарища Лордкипанидзе. Если знакомство с этим человеком и не обещает Ласкину ничего приятного в личном плане, то господин Ляо уверен, что увидеть жену начальника завода будет для Ласкина...

Тут господин Ляо застенчиво улыбнулся и заявил, что он немного оговорился: увидеть жену Лордкипанидзе, разумеется, будет радостью не для какого-то мифического Ласкина, а для барона Георгия Фохта. И он сделал маленькую паузу – совсем коротенькую, ровнехонько такую, чтобы убедиться: стрела дошла до цели. Ему было приятно, что при этих словах пальцы Ласкина судорожно вцепились в подлокотник низенького шелкового креслица, в котором тот до этой минуты чувствовал себя так непринужденно, почти безмятежно, словно забыв, кто он и зачем он здесь.

Итак, пауза была совсем коротенькой. После нее господин Ляо в том же ласковом тоне сообщил, что бывшему барону Фохту будет, без сомнения, очень приятно войти в дом, где хозяйствует Алла Романовна...

На этот раз Ласкину не удалось сохранить остатков спокойствия, за которые он цеплялся, как за якорь спасения. Теперь он знал, что не только его белогвардейское прошлое, но вся его жизнь от пеленок известна этому гладкому человеку. И если до этой минуты маленькие эпизоды последних месяцев жизни, прошедших после вербовки чжан-чжунтаковской разведкой, казались Ласкину случайными клочьями разорванной Фохтовой жизни, то теперь они предстали перед ним как звенья цепи, спаянной невидимой рукой каких-то страшных людей. Они следили за ним, изучали его, узнали его до последней косточки, до самого сокровенного помысла. Его сковали этой цепью. Она опутывает его и опутает всех, кто с ним соприкасается, всех, кого он знал когда-то и кого эти люди снова поставят на его пути.

Допив свой чай, господин Ляо подошел к окну и раздвинул штору. Розовые лучи зари хлынули в комнату таким ярким потоком, что вся ее роскошь поблекла. Всю ее, эту роскошь, Ласкин увидел потертой, зашарпанной, захватанной нечистыми прикосновениями таких же, как он сам, нечистых людей.

– Я очень люблю русских офицеров, – вкрадчиво говорил господин Ляо. – Тех, что приезжают сюда, к нам, и тех, что отсюда уезжают. Я люблю всех людей порядка. Только ради того, чтобы сказать вам это и заверить вас в том, что я готов сделать все для удовлетворения ваших желаний, я и позволил себе беспокоить вас посещением моего скромного дома... Небольшие условия, какие мои высокие доверители приказали мне поставить перед вами...

В этот миг глаза господина Ляо стали такими же, какими Ласкин их увидел в первый момент знакомства. Ему опять захотелось вытянуться, как по команде «смирно», и стало холодно пальцам.

– ...эти условия мы с вами должны выполнить.

Господин Ляо улыбнулся. Улыбка его гладкого лица никак не вязалась с колючим холодом взгляда, в котором Ласкин не видел ничего, кроме безжалостной угрозы смерти.

Дощатая калитка обыкновенного дома затворилась за Ласкиным. Был уже день, и Ласкин не нуждался в проводнике. Он в одиночестве спускался к просыпающемуся городу. Окружающие бухту сопки уже до половины склонов оделись в прозрачные блики розового утра. Из-за восточной гряды вполглаза высунулось солнце. Город смеялся всей гладью бухты и белизной домов. Ласкин остановился в нерешительности, глянул вверх, на высеченную в скале узкую улочку. Дом господина Ляо выглядел таким обыкновенно-провинциальным и скучным, что Ласкину захотелось протереть глаза: неужели там он услышал то, что связало рассеянные звенья его прошлой жизни в цепь, опутавшую все будущее?

Чем ярче становилась розовость сопки, тем гуще делалась тень под скалой, накрывавшей домик господина Ляо. Скала нависала над ним угрожающим черным массивом. Казалось, достаточно самого незначительного усилия, совсем маленького взрыва, всего одного динамитного патрона, чтобы заставить тысячу тонн гранита обрушиться на ветхие стены и навсегда освободить Ласкина от господина Ляо, разорвать цепь, опутавшую барона Фохта.

Ласкин хмуρο глядел на то, как дом все дальше и дальше уходил в тень, пока скалистая щель не стала совсем черной.

Егеря

Свет солнца меркнет в тайге. Только вверху, между образовавшими сплошной шатер кронами деревьев, сквозят яркие лучи. Но неба не видно и там. Листва слишком густа. Тесно сошлись стволы кедра и тисса, часто заплели все вокруг путы лиан и дикого винограда. Здесь каждый шаг – борьба с зарослями, с цепкими ветвями дикого шиповника и чертова дерева. Тропка едва различима.

Она бежит, укрытая тенью деревьев, замаскированная листьями папоротника, разросшегося по пояс человеку.

Парно, как в бане. Воздух такой, будто вся земля пропитана густой растительной эссенцией. Запахи свежих трав с примесью гнилого, сопревшего листа поднимаются с земли. Их тяжелая волна кружит голову. Стежка – полоска чуть примятой травы – хитро вьется между камнями, словно нарочно прячется от глаз человека. Поневоле приходится ступать на их обманчивую мшистую поверхность. Нога скользит, как по льду. Внезапно тропа обрывается прямо над крутым берегом ручья. Переправа без моста, без брода, с камня на камень, с сапогами под мышкой. От воды веет прохладой. Она звенит и бурлит, пенясь между камнями. Ее прозрачность подчеркивает каждая деталь дна: камешки, застрявшие среди них отяжелевшие ветки, мелькающая там и сям форель. Все видно с какой-то особенной, отчетливой яркостью, как сквозь сильную лупу.

И опять густые заросли, где не видно и на пять шагов вперед. Только по тому, как крутой лестницей вырастают камни из-под травы или уходит опора из-под ног, можно судить о подъемах и спусках.

Ласкин не скоро добрался до оврага, помеченного на карте. Со спуска он увидел противоположный, круто поднимающийся в гору склон. Вдоль него тянулась безлесная прогалина. Ее сожженная зноем поверхность сияла, как медный щит, под лучами высоко стоящего солнца. Нечего было и думать там отдохнуть, а Ласкину нужны были силы. Он должен был явиться к цели свежим и бодрым. Решил прилечь, прежде чем спускаться в распадок. Заснуть не было возможности: стоило закрыть глаза, как багровые, лиловые, зеленые, синие круги начинали разбегаться по внутренней поверхности век. Парное удушье нагнетало кровь в сосуды. Стучало в висках, ломило затылок. Ласкин лежал, все больше теряя желание и способность продолжать путь. Но вот сквозь розовый туман полузабытья до сознания дошел мелодичный свист. Открыв глаза, Ласкин ничего не увидел. В напряженной тишине спящей под солнечным наркозом тайги свист отчетливо повторился. Он шел с той стороны оврага. Но полянка была пуста. Кажется, слегка пошевелилась на опушке обожженная солнцем красная листва кустарника, но скорее всего и это почудилось: вероятно, колебался воздух, горячими струями поднимаясь с земли.

Через секунду свист послышался вновь, и опять шевельнулся тот же куст. И тут Ласкин увидел, что это вовсе не куст, а «цветок-олень».

Еще раз свистнув, олень вышел на полянку. Он ступал осторожно и легко. Будто не ноги у него, а стальные пружинки, на которых корпус плывет над неровной землей, почти не колеблясь. Олень не шел и не бежал. Его движение состояло из отдельных скачков и даже из отдельных тактов скачков, – так учили солдат «по разделениям» ходить гусиным шагом.

Поднятая в воздух нога оленя замирала, согнутая в коленке. Затем он эластично выкидывал копытце вперед и, сделав мягкий, будто никаким усилием не вызванный прыжок, переносил корпус на выброшенную вперед ногу.

Посреди полянки олень остановился, насторожив широкие, как листья клена, уши. Ласкин лежал, будто мертвый. Старался даже не дышать. Внезапно он заметил возле себя странное движение. С едва уловимым шорохом зашевелились устилающие землю листья. Шорох приближался к его голове. Но, как и давеча с оленем, Ласкин не мог ничего увидеть за пестрым

покровом листьев. Вдруг шелест затих. Рядом с плечом Ласкина, как поднятая на пружине, появилась головка полоза. Ласкин забыл про оленя и в испуге вскочил, но змея исчезла столь мгновенно и бесследно, что Ласкин не смог бы даже указать точку, где она за секунду до того была. А когда он оглянулся на лужайку, оленя там уже не было.

Ласкин сердито отряхнулся и пошел.

В лесу, на обнесенной сеткой площади всего в две тысячи гектаров, живет тысяча оленей, но за весь остальной путь Ласкин не видел больше ни одного. Быть может, десятки и сотни их были на его пути, но ни один не дал себя заметить.

Усталый больше от зноя, чем от ходьбы, Ласкин вышел из тайги почти у самого моря. Перед ним расстилалась гладь пролива Стрелок, отделяющего остров Путятин от материка. Вправо, у подножия сопки, на самом мысе Бартенева, выделялся белизной стен на земной зелени домик. Он стоял так близко к берегу, что казалось – волны пролива омывают его фундамент.

Домик был маленький, со стеклянной верандой и мезонинчиком. Спускаясь к нему, Ласкин вглядывался в открывающуюся с вершины сопки панораму пролива.

Смягченная расстоянием зелень материкового берега переходила в смутную синеву далеких сопкок. Легкое, едва подернутое лазурью небо отражалось в неподвижной воде. Береговые заросли, опрокинутые в зеркало вод, ложились дрожащим кружевом на край бирюзовой дороги пролива.

Вокруг домика царила тишина. Никто не отозвался на зов Ласкина. Лишь обойдя изгородь, он заметил калитку, ведущую в разбитый за домиком огород. Все дышало здесь хозяйственностью и порядком. Капуста раскрывала навстречу солнцу загибающиеся края своих матовых листьев. Грядки светлой морковной зелени разбегались ровными прополотыми рядами, огибая одинокий, коряво вывернувшийся из земли дубок. За угол прогалины уходил сплошной ковер цветущего картофеля. В белизне цветов двигалась чья-то широкая спина, обтянутая красным ситцем. Ласкин еще раз подал голос. Спина расправилась, и Ласкин увидел большую, крепкую женщину. Она не была полной, скорее наоборот. Ее лицо казалось костистым и строгим. В нем не было правильных черт, но, глядя на смуглую кожу щек и яркость сомкнутых сильных губ, чувствуя на себе взгляд строгих спокойных глаз, Ласкин подумал: «Хороша!» Вся ее фигура поражала плотностью кроя – от округлых, могучих плеч до широкого таза. Красная повязка на огненно-рыжих волосах сливалась с пунцовым загаром лица и делала всю голову пылающей.

Женщина выпрямилась и, отирая о фартук запачканные землей руки, подошла к Ласкину.

– С совхоза?

Голос был грудной, сочный и грузный, как она сама. Ласкин почувствовал свою хлипкость перед надвинувшейся на него силой тайги. Даже собственный голос показался ему птичьим писком.

– Мне хотелось бы видеть егеря.

– Двое их тут.

– Назимова.

– Мужа, значит.

– А кто второй?

– Чувель, брат.

Из дальнейшего разговора Ласкин узнал, что Чувель на сенокосе и придет не скоро, если только не окажется правдой то, что болтали тут давеча ребята, будто Чувель посек себе ногу и не сможет работать. А если так – вернется домой. В совхозе ему делать нечего. Тут его квартира: наверху, в светелке. И служба тут: вот все влево от егерского домика – Чувелев участок;

вправо – участок второго егеря, Назимова, ее мужа. Сейчас Назимов уехал по рыбу. Вот-вот должен вернуться. Уж к обеду-то обязательно будет.

Не спеша сообщая все это, женщина соскабливала с пальцев приставшую землю. Поймав на себе ошупывающий взгляд Ласкина, она опустила подоткнутую юбку и ушла в дом.

По проливу скользит небольшая невзрачная шлюпочка. Неторопливыми ударами весел подгоняет ее высокий худой человек. Шлюпка плывет так спокойно, так плавно, что не слышно всплеска, не видно даже ряби на воде, только за кормой лениво расплетается косичка следа. Шире и шире разбегаются эти пряди, пока не утихнут, не растворятся в той же неподвижной, отполированной солнечной гладью воде.

Человек в шлюпке не сгибается. Не спеша заводит весла и бесшумно опускает их в воду. Вынет с ловким вывертом, и ровная, тоже бесшумная пленочка воды стечет с них, прежде чем человек снова заведет их к носу шлюпки. Ни стука, ни всплеска, ни скрипа уключин.

Солнце палит так, что на воду глядеть больно, а гребец без шапки. Голова у него черная от загара и блестит на солнце серебром седины. Ударом весла гребец круто повернул шлюпку и заставил ее до половины вылезти на прибрежный песок. Не спеша он сложил весла и вышел на берег.

Человек был подтянут; лицо чисто выбрито, большие серые глаза жестко глядели из-под выгоревших бровей. Сухой нос с горбинкой и складка вокруг сжатых губ делали выражение его лица сосредоточенным и не слишком приветливым.

Гребец поднял промокший мешок с рыбой и, держа его немного на отлете, будто боясь запачкаться, понес к дому. На ходу крикнул:

– Авдотья Ивановна! Рыбу возьмите.

Он бросил мешок на крыльцо и сел на ступеньку. Не спеша постучал папироской по крышке коробки. Это была всего лишь облезлая жестянка, но по тому, как проделывал все это егерь, можно было бы подумать, что в руках у него, по меньшей мере, золотой портсигар. И в том, как он постукивал, и в том, как прикуривал, прищурив один глаз и держа двумя пальцами папиросу, было нечто глубоко чуждое этому скромному егерскому домику, лодке и мешку с рыбой.

Вышла женщина и взяла рыбу. Кивнув в сторону Ласкина, сидевшего в тени забора, сказала:

– Там человек.

Егерь хмуро посмотрел на Ласкина. В серых холодных, внимательных глазах не было ничего, что могло бы ободрить гостя. Егерь продолжал смотреть выжидательно. Ласкин тоже молчал.

Женщина приветливо бросила Ласкину:

– Поговорите с супругом-то!

При слове «супруг» егерь с досадой дернул бровью и встал. Он надел выгоревшую фуражку военного образца и приложил пальцы к козырьку:

– Егерь Назимов.

Скоро Ласкин заметил, что в разговоре с женой Назимов несколько менялся – даже говорил другим языком, не тем, каким с Ласкиным. Слова его становились грубее и проще, но в них сквозило больше тепла. Она же при общении с ним теряла свою угловатость, делалась мягче и женственней. Даже ее могучие, почти мужские руки становились будто слабее, и движения их легчали и округлялись.

Когда Назимов куда-то ушел, Ласкин, принимая от Авдотьи Ивановны кружку молока, шутливо сказал:

– Он у вас сердитый.

Она поглядела куда-то в сторону, потом себе на руки и тихонько ответила:

– Роман Романович?.. Не сердитый, а только... потерянный он.

Она опустилась на лавку рядом с Ласкиным.

– Потерял он себя. Семь лет, как выпущен, а все в себя не придет.

И осеклась. Послышался треск веток под ногами приближающегося человека. Авдотья Ивановна поспешно поднялась и пошла навстречу. В сгущающемся мраке опушки Ласкин не видел, что там происходит, но ему показалось, что он слышит, веселые возгласы, смех и голос ребенка. Он не утерпел и пошел туда.

Назимов нес мальчика лет пяти. Взмахивая ручонками, как крылышкам, ребенок заливисто смеялся и тянулся к матери. Он сидел верхом на шее Назимова, весело покрикивавшего:

– Гоп, гоп, гоп!..

Мальчуган тоненьким голоском сквозь смех вторил:

– Хоп, хоп, хоп!..

Назимов увидел Ласкина, и лицо его сразу застыло. Улыбка исчезла. Выпрямившись, снял ребенка и передал матери.

Строго сказал:

– Ему пора спать.

Голос звучал, как и прежде, сухо и неприветливо.

– Ваш? – попробовал Ласкин завязать разговор.

– Да, – коротко бросил Назимов и ушел в дом.

Больше они не говорили до вечера, когда Назимов собрал припас на три дня и пригласил Ласкина идти в тайгу на отстрел.

Месяц был на ущербе. Яркая полоса пересекла пролив, точно мост из гибкой серебряной ленты, брошенной на воду. Лента извивалась и дрожала, следуя движениям легкой волны.

Назимов и Ласкин шли берегом, вдоль опушки.

Ласкин предложил спутнику папиросу. Тот закурил по-охотничьему – из горстки. При свете спички Ласкин увидел его лицо. Резкость черт смягчилась. Морщины разошлись.

– Как чудесно тут у вас! – сказал Ласкин.

– В некоторых отношениях неплохо, – неожиданно просто ответил Назимов, точно темнота давала ему возможность держать себя свободней.

Они удалились от берега. У моря остались и месяц, и свет. Уйдя в тайгу, спутники углубились в темь, до отчаяния непреодолимую. Назимов шел не быстро, но очень уверенно. Ласкин с трудом следовал за ним, ориентируясь по шелесту листьев под ногами егеря да по редким вспышкам его папиросы. Так они шли до засветлевшей вдаль опушки.

Назимов остановился.

– Тут ночлег.

Ласкин представил себе пылающий уютный костер и сидящего около него егеря, ведущего неторопливый рассказ.

– Хворосту набрать? – предложил он.

– Как хотите. Мне достаточно листьев.

– Я говорю о костре.

– А-а... – протянул Назимов и засмеялся. – Может быть, еще чайничек, рюмку водки?.. Здесь не подмосковная дача. Не угодно ли кусок хлеба и флягу с водой?..

Глупости! Не фляга же с водой развяжет беседу, какую намерен вести Ласкин. Его баклага наполнена коньяком. У егеря слишком короткий язык. Коньяк сделает его длинней.

– Вдали от Авдотьи Ивановны вашу спартанскую воду можно заменить моим коньяком.

– При чем тут Авдотья Ивановна? Я пью когда и с кем хочу.

– Тем лучше! Выпьем здесь, в дебрях путятинской тайги, темной осенней ночью, и вашим собутыльником буду я.

– Может быть, именно здесь, теперь и с вами я не желаю пить.

Назимов говорил зло, точно стараясь вызвать собеседника на резкость или заведомо обидеть.

– Дело ваше, – спокойно ответил Ласкин, но выложил баклагу на видное место.

Они долго молчали. Потом под Назимовым захрустел валежник. До Ласкина донеслось не слишком любезное:

– Есть будете?

Ласкин откупорил флягу и молча передал ее егерю. Из темноты слышалось бульканье жидкости в горлышке опрокинутой баклаги.

Потом ее взял Ласкин, но только сделал вид, будто пьет. Он еще несколько раз брал от Назимова баклагу для того, чтобы проверить, сколько тот выпил.

Все происходило без слов.

Поужинав, тоже в молчании, Ласкин лег. Назимов долго курил. Потом прозвучал его принужденный смех.

– Прикажете поблагодарить за угощение? Княжеский пир! Коньяк!.. Егерь Назимов пьет коньяк. Это же шикарно!.. Ей-богу, шикарно!

По-видимому, он давно не пил, и от коньяка его быстро разобрало. Ласкин сделал вид, что собирается спать, и равнодушно бросил:

– Покойной ночи.

И стал ждать. Он знал, что делает. Действительно, через некоторое время слышался обиженный голос Назимова.

– Так-с, «покойной ночи»... Значит, подпоили – и отвяжись! А как же олень, пантовка, егерь? Ведь вы же все хотели знать, вы же за этим и приехали!

Ласкин придвинулся к нему вплотную; вместе с запахом вина и табака до него доходили негромкие слова егеря:

– ...Черт вас дерит! Вам нужна экзотика? Нет здесь экзотики. Поняли?! Никакой экзотики! Экзотика давно улетучилась. Остались обыкновенная земля, лес, небо, вода. Остался труд. Невидный, но большой. Разве вот солнце еще годится для вашей экзотики: ровно столько солнца, сколько нужно, чтобы сделать несносной жизнь егеря. Впрочем, может быть, вам подойдет матерый волк? Его еще можно встретить. Есть и барс. А рысь – это не экзотика. Она не стоит вашего высокого внимания. Волк и барс – туда-сюда... Но при профессиональном отношении вырабатывается совсем другой вкус: все становится пресным. Не ощущаешь уже легкого дрожания нервов, без которого охота, как спорт, не доставляет удовольствия. Для нас это уже ремесло.

Вы видали мою винтовку? Это – «росс». Его убойность нельзя сравнить ни с каким другим ружьем. Выходное отверстие от пули – в хорошее блюдечко. А так как я бью в шею, стараясь поразить ее верхнюю часть с позвоночным столбом, у моих пантачей голова бывает почти отделена от туловища. Может быть, вы вообразите, что это так просто: прицелился – и р-раз? Дудки. Прямой выстрел «росса» – шестьсот шагов, но даже так можно спугнуть дурацкую животину. Ей-ей, олень способен и за километр расслышать полет мухи, дыхание человека. А видит, проклятый! Одним словом, отстрел оленя – довольно скучное занятие. Как, впрочем, и всякая другая профессиональная охота скучна для человека, не родившегося в тайге. Говорят, что только охота на себе подобного может быть нескучной. Я этого не могу сказать. Тот вид охоты на человека, который я отведал, не показателен: война – не охота. Какая же это охота, когда вместе с тобой стреляют сотни и тысячи людей! Их заставляет нажимать на курок только страх, двойной страх: как бы не стукнули по черепу сзади, если не будешь стрелять вперед, и как бы не всадили пулю в тебя, если опоздаешь всадить ее сам...

Впрочем, виноват. Вас ведь интересует только олень? Ладно, об олене. Важно свалить его одним выстрелом. Ранить нельзя. Если перебьешь ногу, он уйдет без ноги. Конечно, потом

он падет, но без собак его не отыщешь. Рана в живот? Он способен целый день волочить свои кишки. При этом заведет вас в такие дебри, что не приведи бог...

Назимов остановился. Ласкин воспользовался молчанием.

– Расскажите о себе.

– Для этого мне нужно еще коньяку. – Он жадно допил остатки из баклаги Ласкина. – О себе?.. Я моряк. Впрочем, это недостаточно точно. Вы можете принять меня за одного из тех, кто водил суда по морям. Расхаживал по мостику, обдуваемый солеными ветрами, разбирался в картах, понимал кое-что в машинах, бранил офицеров и бил матросов, не справлявшихся с трудностями морской службы. Одним словом, вы, может быть, представляете себе морского волка? Я не из тех. Я бывший офицер тихоокеанской эскадры Российского императорского флота. Это был совсем особый класс моряков. Основным бассейном наших плаваний был действительно очень «Тихий океан», но открытый не Магелланом, а неким греком Антипасом, – так назывался его кафешантан. Это было неплохо задумано: почти всегда мы чувствовали себя в родной стихии – на волнах «Тихого океана». Антипас держал шантан и бани, дополнявшие друг друга. Впрочем, у него еще водочный завод был в Харбине. Там водка не облагалась акцизом, и он ее контрабандным путем переправлял во Владивосток. А носила эта водка необыкновенное название: «Адмиральский час». Да, так плавал я преимущественно в «Тихом океане» Антипаса: шансонетки, коньяк, изредка, когда карман бывал не слишком пуст, бутылка «Редерера»... Выходы в открытое море, в мокрый Тихий океан, совершались не слишком часто. И не слишком далеко. Как видите, специальность у нас была довольно узкая. Найти ей применение на месте, когда началась германская война, было нелегко. Кончилось тем, что меня в компании таких же сухопутных моряков в конце концов отправили на германский фронт, в так называемые морские полки. Не скажу, чтобы мне там понравилось. В сухопутной войне было слишком много вшей, портянок и мясничества. К счастью, я пристрастился к стрельбе. В начавшем тогда зарождаться снайпинге я нашел, так сказать, себя. Меня даже собирались отправить в английскую школу снайперов для совершенствования, но тут начался развал нашей богоспасаемой армии. Я с удовольствием драпанул в Петроград, где пребывала моя сестрица Васса...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.